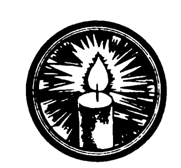
ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПОТАЕННЫЙ
ПЛАТОНОВ

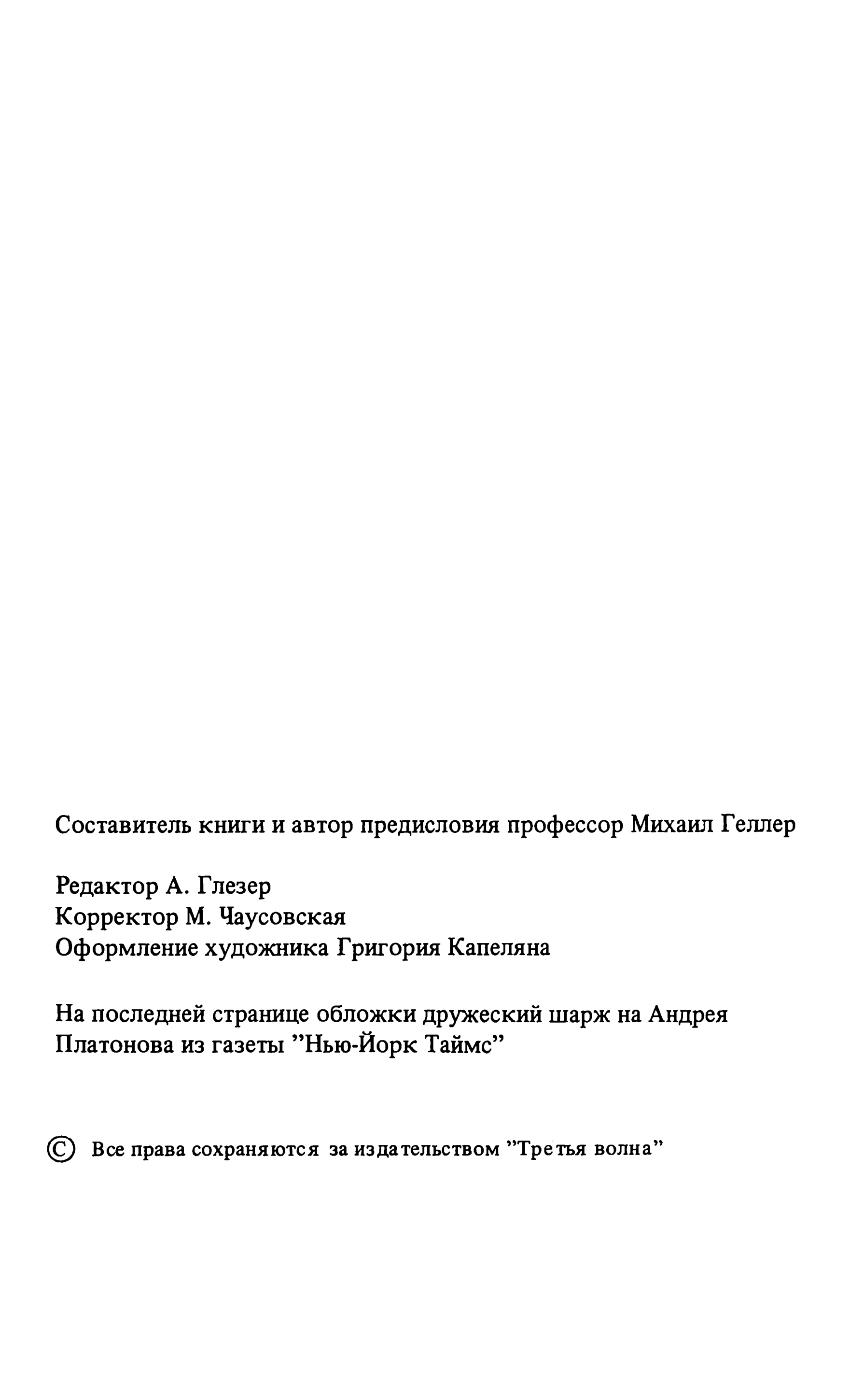
ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ

ПОТАЕННЫЙ ПЛАТОНОВ

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ



Издательство
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
Париж — Нью-Йорк
1983



Составитель книги и автор предисловия профессор Михаил Геллер

Редактор А. Глезер
Корректор М. Чаусовская
Оформление художника Григория Капеляна

На последней странице обложки дружеский шарж на Андрея Платонова из газеты "Нью-Йорк Таймс"

ПАРАДОКС ПЛАТОНОВА

Решающие жизнь истины
существуют в заброшенных книгах.

Андрей Платонов

Всю свою жизнь Андрей Платонов верил, что смерти нет. Он верил — не только в необходимость, но и — возможность в будущем — воскрешения всех живших на земле людей. На наших глазах происходит воскрешение писателя Платонова, к читателю приходят его книги, вычеркнутые из списка живых, "заброшенные", казалось бы, навсегда. Судьба Платонова необычна даже в советской литературе. В середине 50-х годов соответствующие органы начали возвращать в литературу кое-кого из выброшенных ранее писателей, кое-какие из книг, совсем недавно еще числившихся в рядах "враждебных", "клеветнических", "запрещенных". В 1958 г. удостоился милости Платонов: были изданы "Избранные рассказы", размером в 287 страниц. Половину книги занимали фронтовые рассказы, хотя и подвергавшиеся критике, но показавшиеся наиболее "безвредными". Открытие писателя происходит в 1966 г.: в сборник "Избранное" включается пять повестей, в том числе "Джан", ранее полностью не публиковавшаяся, и шестнадцать рассказов, в том числе неизвестный "Мусорный ветер". В 70-е годы произведения Платонова регулярно переиздаются, в 1978 г. появляются "Избранные произведения" в двух томах.

Если сравнить сборник 1966 г. и двухтомник 1978 г., станет очевидным, что корпус произведений Платонова остается неизменным: добавлены научно-фантастические рассказы, некоторые литературно-критические статьи. И только.

В известном историческом анекдоте рассказывается о жалобе некой девицы Петру I на произведенное над ней насилие. Великий русский царь, признав правоту истицы, поста-

вил резолюцию: считать девицей! Андрей Платонов объявлен советским классиком. Но — не полностью. Он считается девицей, скажем, на 30%. На те проценты творчества писателя, которые сочтены достаточно невинными. Критики многим в нем недовольны: "Не все его (Платонова) герои действуют на главных направлениях движения нашего общества"*. Естественно, произведения, в которых изображены "неправильные" герои, не публикуются. Биограф упрекает писателя:"Сатира А. Платонова лишена какой бы то ни было позитивной социально-экономической программы..."** Естественно, не печатается сатира.

Возникает парадокс. Писатель, объявленный "советским классиком", включенный в "золотой фонд" советской литературы, остается в значительной степени запрещенным, потаенным. Статья о нем в "Краткой литературной энциклопедии" заканчивается загадочной фразой: "После смерти Платонова осталось большое рукописное наследие". Фраза загадочна, ибо неясно, что же мешает опубликовать рукописи замечательного писателя. Впрочем запрет касается не только рукописей: не переиздаются многие произведения Платонова, публиковавшиеся — по недосмотру — в свое время.

Советские цензоры и издательства, решающие сегодня, что публиковать из наследия Платонова, а что утаивать, опираются на указания, данные в 30-е годы лучшими знатоками творчества писателя — Сталиным и Горьким. Тов. Сталин лично читал "Усомнившегося Макара" и "Впрок". И оставшись недоволен автором, поставил резолюцию: "Подонок". Тов. Горький, прочитав рукопись романа "Чевенгур", признал, что "роман ваш — чрезвычайно интересный" и добавил: "Но вы придали освещению действительности характер лирико-сатирический, это, разумеется, неприемлимо для нашей цензуры". Трогательно заботясь о "нашей цензуре", А.М. Горький советует Платонову переделать роман в пьесу, а лучше всего вообще писать что-нибудь другое.

В пьесе М. Булгакова "Последние дни" шпик, приставленный следить за Пушкиным, недоумевающе размышляет над судьбой поэта: "... Не было фортуны ему. Как ни напишет, мимо попал, не туда, не те, не такие". Булгаков имел полное право говорить это и про себя. Такое же право имел и Андрей Платонов. На всех поворотах государственной и литературной политики он оказывался под ногами у властей

---

*"Литературная газета", 2, 4. 1980

** Владимир Васильев – Андрей Платонов. Москва, 1982, стр. 134.

предержащих и подвергался порке. Его начинают бить в 1929 г., в год ''великого перелома''. Последний раз при жизни его громят в ''Правде'' в 1948 году. И потом до смерти перестают печатать.

Враждебная критика была совершенно справедливой: Платонову не было места в советской литературе. Потомственный пролетарий, он не только был одарен великим талантом, но — одним из очень немногих — сохранил на протяжении 30 лет своей творческой жизни то, что составляет смысл литературы — собственный взгляд на мир.

В юности Андрей Платонов становится последователем Николая Федорова, автора одной из самых удивительных утопий, какие знает история человечества — ''Философии общего дела''. Н. Федоров зовет людей объединиться для ''общего дела'' — воскрешения предков. Молодой Платонов воспринимает Октябрьскую революцию как первый шаг к осуществлению ''общего дела'', к созданию счастливого мира. Ленин кажется ему титаном, который сможет осуществить проект Федорова. Творчество писателя станет местом столкновения двух утопий. Путь к счастью, предложенный Федоровым, станет эталоном для проверки пути к счастью, указанного Лениным.

Всю жизнь Платонов пишет одну книгу: о соблазне утопии. О мираже счастья, обещанного за поворотом дороги. О том, как этот мираж заставляет людей делать революцию, убивать и умирать, терять человеческие чувства по дороге к счастью, из любви к дальнему губить любовь ближнего.

''Первой главой'' платоновской ''книги'' были произведения-размышления о ленинской революции, о первом прыжке в утопию: ''Ямская слобода'', ''Сокровенный человек'', роман ''Чевенгур'', вобравший все темы, сюжеты, героев этой ''главы''. Сюжет ''второй главы'' — сталинская революция, время ''великого перелома'' и его последствия. В эту ''главу'' входят: ''Котлован'', ''Впрок'', ''Усомнившийся Макар'', ''Государственный житель'', ''Ювенильное море'', ''Че-Че-О'' (Организационно-философские очерки), написанные совместно с Бор. Пильняком, пьесы 30-х годов. Для писателя нет разрыва между двумя революциями — ленинской и сталинской: обе взаимосвязаны, вытекают одна из другой, обе одного и того же порядка. Обе — соблазняют утопией.

Достаточно беглого взгляда на библиографию Платонова и содержание его книг, изданных в Советском Союзе после смерти Сталина, чтобы понять смысл ампутации, произве-

денной над писателем. Из "первой главы" к печати не допущена главная книга — "Чевенгур", "вторая глава" — запрещена целиком. Как выразился Платонов в 1937 году о фальсификации его творчества критиками: "Было взято мое, так сказать, "литературное туловище" и критически препарировано. В результате этого "опыта" из моего человеческого все же тела получилось: одна собака, четыре гвоздя, фунт серы и глиняная пепельница".

Многое из запрещенного Платонова на Западе издано прежде всего по-русски. Особенно важное значение для понимания замечательного писателя имееет публикация рукописей "Чевенгура" и "Котлована". Но не все еще доступно читателю. Сборник "Потаенный Платонов" ставит задачей познакомить тех, кто интересуется русской литературой XX века, с произведениями писателя, без которых беднеет и русская проза, и Платонов.

В сборник включены как произведения, опубликованные в свое время в Москве — раз и навсегда, так и тексты, хранящиеся под замком в "рукописном наследии". Настало время начать издание полного (по возможности) собрания сочинений Андрея Платонова. Пока отыщется мудрый и смелый издатель, мы собрали то, что сегодня почти недоступно читателю.

Исторический рассказ "Иван Жох" входил в первую книгу прозы Платонова "Епифанские шлюзы", вышедшую в 1927 г.; "Че-Че-О" (Областные организационно-философские очерки)', написанные в соавторстве с Борисом Пильняком, появились в журнале "Новый мир" (1928 г., №12); "Государственный житель" был напечатан в "Октябре" в 1929 г. в №6, а "Усомнившийся Макар" в №9. "Ювенильное море" было впервые опубликовано в журнале "Эхо" (Париж, 1979 г., №4), а "14 красных избушек" — в "Гранях, №86, 1972 г.

Выбор произведений не был продиктован только утилитарными соображениями — желанием дать читателю труднодоступные тексты Платонова. Разножанровые, разносюжетные произведения, собранные в "Потаенном Платонове", прочно связаны темой — подмены. Писатель четко, лаконично, афористично излагает "тайну века", секрет послереволюционного государства в "Городе Градове": "Все замещено! Все стало подложным! Все не настоящее, а суррогат!" Герой "Города Градова" не только знает, что "все замещено". Он знает, когда произошла подмена: "Воистину в 1917 г. в России впервые отпраздновал свою победу гармонический разум порядка".

Мечта о счастье, вера в возможность "гармонии" — были для Платонова неотъемлимыми качествами человека. Человек не может не верить, не мечтать. Беда приходит, когда происходит подмена, когда, соблазняя мечтой, человека ведут туда, куда считают нужным "умники", идеологи.

"Иван Жох" — хронологически — продолжение исторической повести Платонова "Епифанские шлюзы". Герои рассказа — мужики-раскольники еще помнят петровские времена, еще "маяты не изжили от войн, да походов, да великих царских работ". Иван Жох, бродяга, мечтатель, искатель воли вольной, соглашается "принять на себя" звание "государя Петра Федоровича", стать самозванцем, продолжателем дела Емельяна Ивановича Пугачева.

Был бы "Иван Жох" еще одним историческим рассказом о мужицком бунте в ХУ111 в., если бы не вторая часть рассказа, действие которой происходит 140 лет спустя — в 1919 г. Потомки Ивана Жоха, основавшего в сибирской тайге мужицкое царство, утопию, "Вечный-Град-на-Дальней-Реке", сталкиваются с красными партизанами, пробирающимися "в Москву-город", к Ленину. В одной лодке встречаются защитники двух утопий. Через десять лет после революции писатель начинает подозревать подмену. Он сравнивает две мечты. И убеждается, что история не дает достаточно убедительного ответа.

Платонов обращается к настоящему времени. В 1928 г. он возвращается на родину, в Воронеж, ставший центром новой административной единицы — Центрально-Черноземной области, ЦЧО, или, как произносили местные жители — Че-Че-О. Очерк был новым жанром для писателя. Подзаголовок — "организационно-философские очерки" — свидетельствует о значительном расширении рамок жанра. Текст подписан двумя именами: острая сатиричность в изображении воронежской действительности, которую великолепно знал Платонов, развитие мыслей и некоторых положений, намеченный в "Городе Градове", язык, не оставляют сомнения в авторстве Платонова. Есть основания полагать, что Б. Пильняк ограничился корректурой текста и добавлением своей очень известной тогда фамилии, — что могло помочь начинающему Платонову. Писатели уже сотрудничали, написав пьесу "Дураки на периферии", которая вызвала "резко отрицательное отношение" * и никогда не была ни поставлена, ни опубликована.

---

* "Вечерняя Москва", 15 октября 1928 г.

"Че-Че-О" составляет среднюю часть философско-сатирического триптиха, началом которого был "Город Градов", а завершением — "Усомнившийся Макар". В "Городе Градове" исследовал подмену — бюрократ, понявший, что он "заместитель пролетария... заместитель революционера и хозяина". В "Че-Че-О" — подмену констатирует пролетарий. В "Усомнившемся Макаре" — крестьянин. В трех произведениях рассматриваются те же проблемы, тот же период строительства ленинско-сталинской утопии. Писателю все очевиднее и он выражает это все более четко: паровоз идет "не туда" "суслики", как называют в "Че-Че-О" заместителей пролетариата, контролируют машиниста, подменяют маршрут.

Жанр очерка позволяет говорить публицистично, недвусмысленно: в стране существуют, с одной стороны, "умнейший актив", с другой, — "отсталая масса". Пытается их соединить "система организаций" — профсоюзы и движущая ими сила — партия. Авторы очерков дважды сравнивают эти организации с "мучным клеем", "каким нельзя приклеить газеты к забору". Организациям, "мучному клею", рабочие-собеседники авторов очерка противопоставляют человеческие отношения: "Дружество — и есть коммунизм. Он есть напряженное сочувствие между людьми".

Коммунизм — как его понимали "умники", руководившие страной, — ничего общего с этой утопической мечтой не имел.

А. Платонов возвращается к отношениям между людьми, к отношениям между руководителями — "умниками" и руководимыми — "дураками" — в "Усомнившемся Макаре". Вряд ли можно переоценить достоинства рассказа, блестящего образца платоновской прозы, сочетающей безжалостную сатиру и глубокую мысль, фантастику и реализм.

"Дурак" Макар (Платонов вернул слову "дурак" значение, которое оно имело в русских сказках как определение их главного героя — Иванушки) на двенадцатом году революции "усомнился" и поехал на проверку в столицу нового мира — Москву. У себя на селе он достаточно натерпелся от "товарища Льва Чумового, который был наиболее умнейшим на селе и, благодаря уму, руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу".

Объем бесчисленных статей, обрушивших на А. Платонова гнев партии и правительства, во много раз превышал скромные размеры рассказа. Гнев "умников" был совершенно справедливым, как справедливо нежелание печатать

сегодня в Москве ”Усомнившегося Макара”. В советской литературе есть мало произведений, в которых так бесстрашно и с таким художественным мастерством была разоблачена подмена. Макар Ганушкин — одно из имен платоновского героя. Он один из тех мечтателей, которые в ”Чевенгуре” строят ”коммунизм в одном уезде”, не щадя по пути никого. Соблазненные ”умниками”, поверившие в ”идею”, они твердо убеждены, что становятся ”субъектами истории”. В ”Котловане” он, обманутый во всех своих надеждах, — в числе жертв очередного ”большого прыжка”, твердо знает, что ”умники” оставили его в положении ”субъекта истории”.

”Усомнившийся Макар” изображает героя в тот момент, когда он теряет веру, когда его сомнения становятся настолько мучительными, что он должен пощупать новый мир, потрогать его руками. Неслучайно герой ”Сокровенного Человека” — одна из ипостасей Макара — называется Фома. ”Дураки” Платонова — поддаются соблазну, но разуверившись, стремятся коснуться перстами ран, чтобы проверить — в чем обман, в чем подмена.

Центральный эпизод ”Усомнившегося Макара” — сон героя. Видит Макар во сне гору, а на горе ”научного человека”. Ждет Макар, ”сонный дурак”, от ”научного человека” слова или дела: ”Но человек тот стоял и молчал, не видя горюющего Макара, и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре”. А когда во сне полез сомневающийся Макар на гору, когда тронул ”толстое, громадное тело” человека, оказалось, что это был не человек, а мертвый идол. Подмена — завершена.

В подмененном мире, где разрушается подлинная связь между людьми, место человека занимает ”государственный житель”. Одноименный рассказ Платонова — одна из самых безжалостных сатир в русской литературе. Писатель, выше всего ценивший волю, изображает существо, испытывающее плотское наслаждение от подчинения государству: ”Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение — радостное, как сладострастие”. Раб государства, он совершает величайшее с точки зрения Платонова преступление, — отказывает в помощи ребенку.

”Ювенильное море” занимает особое место в творчестве Платонова. Он пишет повесть во второй половине 1931 г. В 1929 г. его дружно били за ”Усомнившегося Макара”; вышедшая в начале 1931 г. повесть ”Впрок” (”Красная новь”, №3) вызвала новую волну бешеных атак. К этому времени

была уже написана повесть "Котлован" — самое беспощадно правдивое изображение коллективизации в советской литературе, на публикацию которой, как понимал писатель, надежд быть не могло.

Андрей Платонов пишет "Ювенильное море" с намерением изобразить осуществленную утопию, искупить вину "Котлована", "Усомнившегося Макара", "Впрок". Сталинская революция в деревне, "великий перелом" устоев жизни, сопровождается "культурной революцией", духовным переворотом. В конце 20-х годов пролетарский бард Демьян Бедный оправдывался: "Кто скажет, что я обманщик? Я просто слишком был ретив. Но я, однако, не шарманщик, чтобы сразу дать другой мотив". "Культурная революция" приносит прежде всего требование: советский деятель культуры должен быть шарманщиком, меняющим мотив мгновенно, по первому требованию партии. Литературовед-марксист проф. Переверзев излагает закон нового времени: "Мы просто как власть имущие приказываем петь тем, кто умеет петь нужные нам песни, и молчать тем, кто не умеет их петь". Как выразится фрондирующий Троцкий: прошло время, когда достаточно было продаваться оптом, стало необходимым продаваться в розницу — следовать за каждым зигзагом политики.

А. Платонов пробует пойти в ногу с подавляющим большинством советских писателей, которые униженно просят класс-гегемон принять их в ряды марширующих к счастью. Маяковский, назадолго до самоубийства, формулирует задачу: "Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне". "Ювенильное море" — попытка Платонова смирить себя, задавить "собственную песню". Еще не изобретен термин "социалистический реализм", но его суть отлично выражена ведущим критиком Г. Левичем: "Искренность художника не делает произведение художественным, если она идет вразрез с объективной действительность". Платонов пытается заставить "искренность" маршировать в ногу с "объективной действительностью".

Писатель вкладывает в повесть все ингридиенты, требуемые эпохой: мясосовхоз, работа которого развалена партработником, но бюрократом; колхоз, в котором нечего есть, но потому что в нем верховодят кулаки; убийство доярки, пробравшимся врагом, и немедленный расстерел врага; положительных райкомовцев, помогающих преодолеть временные трудности. Наконец, есть в повести ингридиент, без которого с 1931 г. советская литература не ва-

рилась — товарищ Сталин. Главный герой повести читает "Вопросы ленинизма": "Прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким..."

Платонов не сумел, хотя казалось он сделал все для этого, "задавить" свою песню. Похлебка не удалась: как бы помимо воли писателя оказались заминированными каждая фраза, каждое слово, каждый персонаж. Социалистическая форма повести обнажила фантастическое содержание действительности. Ирония оказывается единственным адекватным способом отношения к окружающему миру. Судьба всех платоновских утопий была трагичной: они оставались недостроенными или разрушались, строители сходили с ума или погибали. "Ювенильное море" — книга со счастливым концом. Герои-мечтатели пробились к "материнской воде", к морю юности. Рай на земле построен. И главные строители — уезжают в Америку. Писатель добавляет — в командировку. В подмененном раю нельзя жить.

Самое фантастическое в фантастической сатире "14 красных избушек" — время написания пьесы: 1937-38 гг. В страшную эпоху террора писатель пишет поражающе острую сатиру на советскую действительность. Смысл названия не оставляет сомнений. В начале 30-х годов в состав СССР входило семь союзных республик. Удвоение их числа — дало 14 красных избушек. Не довольствуясь этим, писатель указывает в авторской ремарке к декорации для второго действия: "... Стоит столб с советским гербом и надписью: "СССР. С/х пастушья артель 14 красных избушек".

А. Платонов изображает страну-пастушью артель, в которой пасомые колхозники умирают с голоду, но которая представляется раем западному интеллектуалу, ученому "всемирного значения", приехавшему учиться социализму. В пьесе подчеркнуты связи с "Котлованом", "Впрок", "Че-Че-О". Писатель настаивает — она не случайна. Один из персонажей уверяет: "И Макаров я тоже люблю — они мне нравятся".

Особенность пьесы — повторение приема, использованного в "Шарманке" — введение иностранца, западного поклонника советской системы. Именно ему, Эдварду-Иоганну-Луи Хозу, "ученому всемирного значения", поручает А. Платонов раскрыть "мировую загадку".

В "Городе Градове" был в первый раз раскрыт "секрет века": все подменено. Десять лет спустя "секрет" раскрывается вторично: социализм оказывается "мнимостью",

''пустым обольщением''. В рассказе ''Мусорный ветер'', который Горький назвал ''Мрачным бредом'', написанном в 1934 г., впервые опубликованным в 1978 г., гитлеровская Германия названа ''царством мнимости''. В ''14 красных избушках'' изображается царство мнимости, объявившее себя построенным социализмом. Здесь даже кормят ''только политически'', здесь живут ''от сознания'' — ''разве у нас от пищи проживешь? '' — говорит колхозник. Здесь пища, вещи, реальность заменены ''распсиховкой людей'', то есть — лживым словом, пропагандой.

Андрей Платонов изложил свои размышления о революции и судьбе народа, испытанного ею, в живейших образах. Он изобразил поверивших и обманутых, искавших волю и оказавшихся в оковах. Писатель создает фантастический сюрреалистический мир, который предельно точно отражает мир реальный, представляющий собой ''царство мнимости''. Платоновский язык передает фантастичность реальности и реальность фантастики.

Платонов настойчиво говорил о своем атеизме. Но его можно назвать религиозным писателем, ибо основной сюжет его творчества — поиски веры, сомнения, разочарования и неутолимая тоска по вере. Его герои — писатель хорошо это сознает — ищут ''мнимую веру'', они апостолы псевдорелигии и неизбежно превращаются в служителей псевдоцеркви, либо погибают.

Легко понять, что такой писатель не укладывается в советскую литературу. Поэтому его подменили, публикуя на родине лишь то, что поддается ''распсиховке'', переиначиванию. К счастью, утаить произведения Платонова невозможно — они издаются, будут издаваться. И придут к читателю. Ибо как он верил: ''Решающие жизнь истины существуют в заброшенных книгах.''

Михаил Геллер

ИВАН ЖОХ

1.

Четырнадцатого декабря 1762 года Екатериною II был обнародован Сенатский указ, до раскольников относящийся.

По сему указу извещалось, что раскольники, кои без особой злобы схоронились в иных державах, могут теперь домой воротиться. Для этого в указе содержалось прельщение, что воротившиеся раскольники будут причислены к государственным экономическим крестьянам, мещанам и купцам, хотя бы они до бегства были крепостными; поверх того, раскольникам обещалась земля для поселения и освобождение от всех повинностей на шесть лет.

Чиновники, работавшие в Сенате над раскольничьим указом, хвалились, что велика милость императрицы, раз она таких охальных негодников простила; а иные чиновники, что разумом крепче и в чинах повыше, сказывали, что царица откуп большой получила от московских купцов-раскольников, – что, будто бы, купцы-староверы один миллион рублей в казну внесли ради помилования своей родни, а – в надбавку тому – главный староверский коновод и миллионщик Иван Фомич Ларионов особый зарок дал в святейшем Синоде, что бесовских делов и бунтов он впредь не допустит, а возвращенных из других держав раскольников возьмет на свое попечение.

А томилось за границами раскольников не менее как десять тысяч человек, но указу сразу они не поверили, а стали выжидать. Думали, что на казнь или на изгнание в Сибирь царица обольщает, чтобы изъять раскольников из инородных держав и тем прослыть просвещенной монархиней.

Однако, ничего нового не выходило.

Тогда раскольники решили просочиться сквозь границу малой

порцией, чтобы потом узнать – не покарает ли царица просочившихся людей.

По сему решению и по совету старо-дубского попа Данилы от Всех-Святых-на-Камушках, в августе месяце 1779 года на Добрянский форпост киевской провинции, что стоял обаполо польской границы, явился человек и объявил, что желает видеть начальника поста.

По личности он выходил похожим на крестьянина или на мелкого купца.

Это был мужчина лет около сорока на вид, среднего великорусского роста, с темным рябоватым лицом и могучим сухим телом. На голове у него росла темнорусая гуща волос, а в бороде извивалась седина. Особенно надобно отметить глаза – черные, с притаенной хитрецой, в которых светился отменный характер.

Ему было не более 33 или 34 лет от роду, а может и менее – при такой личине люди живут скорохватами и стареют раньше возраста.

Когда начальник форпоста майор Меньшиков допустил его к себе – он сказал:

– Я желаю воспользоваться милостивым указом императрицы и выселиться в Россию.

– А что ты за человек? – спросил майор.

– Пензенский купец и раскольник Иван Прохоров.

Действительно, это был Иван Прохоров, по прозвищу Жох.

Получив на руки разрешительную выпись, Иван Жох тронулся в тогдашнюю русскую державу, идя пешеходом от одного раскольничьего скита до другого, коих в те поры на Руси было весьма изрядно.

Попав в Старовыгонскую слободу, Жох отдыхал там недели две и кормился сытно, будто собрался на большую работу.

В этой слободе жили раскольники, беглые и всякого сорта люди.

Отдохнув, Жох пошел на Иргиз и Яик, где раскольников был великий притон.

Шел он, не мудря и не заботясь о пропитании – всюду находились сострадательные люди, которые жалели вороченца из чужой стороны и кормили его.

Думал он пробраться на Зауралье, – там богатые земли пустыми лежали, – чтобы основать целый раскольничий край.

А пока что хотел приглядеться и к народу прислушаться.

Народ же всюду говорил одно, что время непокойное и скорбно чересчур; у купцов тоже торг плох стал, и все царство обветшало от подложного Петра-царя, сына Лефорта.

Мужики маяты еще не изжили от войн, да походов, да великих царских работ – и тоже бурчали. Лошади вывелись, деревни обезлюдели и по полю сор пошел. А тут царица поборами душит: и за дым,

и за место, и за бортный ухожай*, и за куру, и за всякую ухватку по хозяйству.

К тому же засуха крыла из каждых двух годов в третий. Народу и деваться некуда: то голодный мор, то кнут бурмистра.

Мужики вздыхали:

– Государя у нас истинного нету. Баба правит – полчеловека всего!

Дошло до Ивана Жоха, что в Москве раскольничий купец Ларионов – что за Рогожской заставой – весь почин против царицы держит и людей упористых ищет. Желает он, будто бы, вольную веру объявить, поборы с народа сложить и торговым людям оказать всякое почтение.

На хуторе Бессмертном, где заночевал Жох, у него ночью истребили все бумаги.

– Не гордись, – говорят, – антихристовыми печатями!

На том хуторе жили тоже раскольники, но бродяжьего толку, которые считали, что бог на дороге живет, и что праведную землю можно нечаянно встретить. По этой вере жители того хутора вечно бродяжили и покою ногам своим не давали.

Через две ночи, в раскольничьей слободе Ветрянке, Жох встретился с беглым гренадером Алексеем Семеновым, который сказал ему:

– А что-то ты, сударь, на покойного императора Петра Федорыча лицом малость сдаешься – издали вылитый государь!

Вечером Семенов позвал Жоха к знакомому купцу Кожевникову в гости – почаевничать и погуторить до первых петухов. В то время по глухим сторонам любили всяких приходящих, дабы новостей от них отведать.

Кожевникову Семенов, должно быть, сказал, что странник с царем схож, потому что Кожевников ласкал его разными образами и о точном звании и природе выведывал.

Жох, открывшись в звании своем, не утаил и того, что из дому отца он давно бежал и объяснил причины своего побега несвойством веры с родителем.

Купец Кожевников, человек тоже раскольничьего толка, сведав от Жоха верно, говорил тому:

– Слушай, сударь! Если ты хотел бежать за Урал, то бежать одному не можно! Хочешь ты пользоваться и начать лучшее намерение? Есть люди здесь, которые находят в тебе подобие государя Петра Федорыча... Прими ты на себя это звание и поди к раскольникам на Яик. Обещай казакам вольность и свободу и награждение, по 12 рублей на человека... Деньги, если будет нужда, я тебе дам и прочие помогут, с тем только, чтобы вы нас, раскольников, взяли с собой, ибо нам здесь

---

* Старинный промысел: лесное дикое пчеловодство.

жить, по старой вере, стало трудно, и гонение делают непрестанное, да и дела торговые в нищету меркнут. Благочестия ж нету в Москве – горит оно где-то в опоньской стране на Беловодье.

В доме Кожевникова был в тот вечер и другой купец, Степан Вакулов; тот тоже замолвил за слова Кожевникова.

Однако, Жох сразу им не подался:

– Я, – говорил он, – лучше на Кубань выйду – там жизнь помягше и начальство пореже... Там, может, и народ способней на такое дело скликать...

Тогда Вакулов стал его разуверять:

– Слышно здесь, что яицкие раскольники давно бунтуют, так лучше их подговорить.

Беседовал Жох с купцами еще немалое время, пока светать не начало и пастухи не проснулись.

Кожевников и Вакулов стояли на одном, чтобы на Яик Жох уходил.

– Будешь на Иргизе, – говорил Кожевников, – беспременно сыщи там игумна нашего Феодосия – он по расколу родной мне человек. Разузнай также про казака Шилова – он почетный в расколе человек и станет помогать тебе, не жалея иждивения...

На другой день купцы приобрели Жоху лошадь и положили за пазуху пятьсот рублей денег. Окрестив его двуперстым крестом, купцы отправились по дворам, а Жох поехал: вчера Жох дал им согласие свое и показал нательные раны от острожных побоев, а получил он их в Рязани, где томился за веру.

Прибыв на раскольничий Иргиз в ноябре 1779 года, Жох явился к старообрядческому игумну Феодосию и открылся ему в желании мутить казаков.

Феодосий принял его намерение с радостью, обнадежив, что Яицкое раскольничье войско его примет.

От себя Феодосий послал Жоха к казачьему старосте – Денису Пьяных:

– Поживи там малость, – сказал игумен, – открывайся людям не вдруг, а разумно!

У Дениса Пьяных Жох первые дни жил молча. А тот не расспрашивал, зная, что Феодосий зряшных людей не даст на приют.

Однако, раз нечаянно допытался у Жоха:

– За что, казак, томиться по чужим местам?

– За крест и бороду! – ответил Жох.

– Что ж, – спросил Пьяных, – из-под караула отпущен, аль сам бежишь?

– Сам бегу, – ответил Жох и застеснялся чего-то. – Дозволь у тебя, – говорит, – до времени пожить!

– Живи! – сказал Пьяных. – Я много добрых людей скрывал.

Пожив еще с неделю, Жох попросил хозяина истопить ему баню. Тот истопил, но тоже с ним помыться пошел.

Оголившись, Жох попробовал силу на разных твердых вещах, разминая толстые железки в подковки.

Тут Пьяных заметил у Жоха на теле какие-то знаки и щербины от старых ран.

– С чего это у тебя такое? – спросил он.

– То знаки государевы, – ответил Жох.

– Что ты говоришь? Какие государевы?

– Я сам государь, Петр Федорович, – сказал на это Жох.

– Да как же это? Да как же так?.. Ведь, сказывали, что государь помер?..

– Врешь! – строго промолвил Жох, – Петр Федорович жив, а не помер. Ты смотри на меня так, как на него. Я был за морем, приезжал в Россию прошлого года, и услыша, что яицких казаков-раскольников притесняют в вере, нарочно сюда на выручку приехал, и хочу, если бог допустит, опять вступить на царство.

– Вот оно как дело-то! – испугался Денис Пьяных.

– Ежели б, – говорил Жох, – какие умные казаки войсковой руки сюда приехали, я бы с ними погуторил...

– А ко мне скоро Григорий Пустовой будет, – заявил Пьяных, – я тады тебя с ним сведу для беседы...

Потом Жох и Пьяных начали мыться, а после бани Пьяных просил прощения у Жоха за обращение с ним, как с простым человеком. Но Жох еще пуще пристрашил его и не велел менять обращения на людях.

– Только надежным людям древней веры скажи обо мне, – сказал Жох, – но так, чтоб и жены их ничего не проведали!

2.

Однажды Жох ходил по Иргизскому базару и пробовал на возах рыбу за мякоть: сколь добротно это речное существо. Мужики ему не препятствовали:

– Говорят, это царь будто! Рыбу щупает: постную пищу уважает!

– Какой такой царь? У нас теперча царица! А Петр Федорович, что на Яике жил, того в Москве иноверцы угомонили! Это не царь – эт так: хозяин-поселенец!

– Ну вот – поселенец! Тебе говорят – царь! По обличью и ухватке видать! Другой бы не осмелился рыбу даром щупать! А то, вишь, и цены не спрашивает, а прямо-таки берет!

– Ну, нехай будет царь! Все одно-то ни к чему! Опять война холостая выйдет, а проку не прибавится!.. Чем больше царей, тем жизнь жиже!

– Ну, тоже справедливость нужна! Нельзя родное место охальной бабе уступать!

– Ну и пускай то место захватывает, а нас зря не касается!

Набрав рыбы, Жох уходил домой – к Пьяных. Ему варили уху и жарили рыбу, а он все поедал в единоличии. Иногда Жох съедал зараз фунтов по десять. Такое прожорство случилось с ним недавно. Сведущий знахарь, – попытав Жоха за живот, – почуял, что в пузе у него завелась змея, которая ночью ползает и нахальничает по всему нутру.

Пьяных питал Жоха сытно и сомневался:

– Слухай, Иван Прохорович! А не выйдет у тебя, как у Пугача: ты забунтуешь, а царица тебя ляпнет!

– Я на народе стою, Денис, – отвечал Жох, – а царица-шлюха в кромешной тьме лежит!

– Это истинно! – говорил Пьяных. – Только поболе тебе силы-мочи собрать надобно!

Прожил Жох у Пьяных еще неделю и тронулся дальше.

Пришел он на Урал и лег отдыхать в избе одного солевоза.

От Иргиза до Уральского поселка Аушина Жох истратил месяц, но в дороге его тело трепала лихорадка – и он ничего не запомнил ни из людей, ни из природы. Деньги у него растащили ямщики и прохожие, поэтому Жох от болезни очнулся нищим.

Народ явно льнул к нему, хотя Жох ему ни в чем не льстил.

В то время люди были остры на всякий слух, а меж слободами и раскольничьими скитами постоянно бродили странники, как ныне почта. Поэтому – Жох шел, а за ним молва катилась и потчевала его царской знатностью.

Жох сам особо не раздумывал о своем значении, но ему открыл его солевоз Егор Багий, у которого он стал на постой в Аушине.

– Ты, – говорил Багий, – сласть жизни особо не примай: после успеешь! И народ теперча по правому царю томится, вот он и льнет к тебе! А ты не томи его охоты, но и туго людей не хватай, а пускай к тебе спрохвала само все движется!

Так оно и выходило.

Но Жох – мужик молодой и соками еще не истек, поэтому облюбовала его одна ласковая баба в Аушине – духовитая вдова. Жох сначала ею не прельщался, а потом прилип к ней вконец.

Багий его опрастывал и к разуму возвращал, но Жох совсем очумевал – чем дальше, то постыдней.

Все Аушино на спор пошло:

– Ежели он царь – его баба не возьмет: он целому народу супротивиться может! Ежели он так себе – мужик – Аришка с ним управится!

Но Жох не сладил со вдовой. И мужики ему сразу простили, когда то случилось:

– Немыслимое дело, – беседовали староверцы, – кабы он оскобленый был, а то мужик с полной гроздью!

– Так он же царь – человек неимоверный! – говорили иные строгие люди.

– А хучь и царь! – отвечали за Жоха моложавые раскольники. – Пищу примает: стало быть, и спуск ей надобен! Это только скобленый – ну, у того пища в дух обращается!

А Жох, себе на уме, спешно улещивал вдову:

– Я, – говорит, – тебя царицей Урала и Сибири сделаю! А кроме того, подарю глыбу золота, какая побаляхней!

– Да не томи ты меня, делай что-нибудь посурьезней! – серчала вдова.

Народ вертелся около Жоха и присматривался к нему. А Жох жил в затмении, выжидая своего времени.

Но видит раз, что надо начинать.

Феодосий-игумен прислал устное письмо с одним нищим – Семеном Тещей:

– Пора уходит, народ твоего пришествия ждет, а ты, Жох, живешь и чухаешься.

Подошла малая конная ярмарка – в Успеньев день – и порешил Жох в одну ночь свое дело:

– Дай, – думал, – я себя жирной жизнью угощу – раз она обнаружилась!

3.

Ярмарки в те годы были густые. Лошадиный промысел давал народу богатые деньги, а по степи шла веселая конная жизнь. Степь сама по себе – одно лихое пространство, но покрытая конем она предлагала человеку вольную жизнь.

Всякий разбойник и просто хороший человек садясь на коня, чувствовал, как это бедовое существо выносит его из тесноты людских законов в огромное дыхание. И он несся по природе, не знающей никакого нарочного наказания.

В том была тогдашняя отвага, и ездок жил героем, как родня ветру.

– Супруга! – сказал своей вдове Жох. – Выхожу объявляться на народ – сиднем сидеть далее не сподручно!

– Давно пора, батюшка, – ответила вдова. – Баба-то всем сподручна, а ты на народе жить умудрись!

Ярмарка не только конями богата была, но и веселительными зрелищами, едой и всякими душевными разговорами старых друзей, видевшихся раз в год – и то по домоустройственному делу.

Посредине Аушина имелась голая круговина – там стояла ярмарка. А посреди ярмарки калмыцкая карусель: на длинной жерди висело большое колесо, жердь ту водил калмык, а ездок держался за спицы колеса; иногда калмык приопускал жердь – через то колесо касалось земли и начинало крутиться: ездока мотало вкруговую – и он отлетал, мучаясь тошнотой и исходя переболтавшейся кровью.

Пришел на ярмарку Жох, влез на карусель и глянул вдаль. Но народ уже знал, что будет царь-странник, и заранее обжался округ карусели.

Старые раскольники неотлучно следили за Жохом и склоняли народ на почет ему. Про такую раскольничью работу и сам Жох почти не знал; а думал, что он самолично пригож народу.

Около Жоха стоял Семен Теща – нищий посланец от игумна Феодосия.

– Зачинай не сразу, государь! – советовал Теща. – А потоми народ малость!

– А чего мне говорить? – невдогад спросил Тещу Жох.

– А ты ж государь! – сказал Теща. – Говори то, поелику жалость твоя окажется, когда царством возобладаешь!

Жох потравил немного времени, оглядел далекие степные солнцепеки и подумал для смелости:

– ...Вон растет трава стоймя, без призору – а хороша; так и народ живет.

И Жох начал свое открытие:

– Всему миру я теперча объявляюсь, потому как дале нельзя терпеть ни минуты часа. Уже мертветь народ зачал от бабьей власти Катерины. Это неподобно, чтобы рабам Христа и подданным моим сидеть доле под подолом европской шлюхи! И чтоб градские мздоимцы несносные денежные поборы и обиды чинили, а казацкая старшина до всяких отягощениев умышляла!

Так я открываюсь всему верному народу моему и прочим азиатским племенам – без отличия природы!

Как деду моему, великому государю Петру Алексеичу, служили отцы ваши, такоже, а и того крепче, служите отныне и мне, – и чтоб до капли крови вся сила ваша пошла мне на помогу, чтоб возобладать мне царством родителя свово и изгнать иноверку Катьку в европскую землю.

А я дарю моему народу всю землю и реки, соляные озера, лесные гущи и старинную веру и прочую вольность. Ибо как мы власть и мир от бога получили задаром, такоже и народу дарма наше богатство передаем.

А кто в неистовство и в супротивщину от сего войдет, тем боле ратью и оружием на нас тронется – тем добра не будет и они сами узнают, что с ними станется.

От нонешнего срока все боярские и царские кабинетские земли отдаются нами казацкому народу и вольному черносошному хрестьянству на вечные сроки и безоброчно. Дарую также я вам вечное козацтво – и будете навеки вы козаковать в степи...

4.

Ехала расколничья рать на хороших конях. Перед войском, а также сзади него и по бокам лежала живая степь – мирное добро земледельца. Синими задумчивыми бровями ждали чего-то далекие северные леса.

Впереди на донском жеребце ехал Жох – шапка красная, борода серебристая, очи мудрые, слово протяжное: степной русский царь.

Ехало войско на Пиотровский оружейный завод, чтобы выбить оттуда екатерининского полковника и поднажиться воинским снаряженьем. Всего в войске было человек семьсот или тыща, но храбрости в нем имелось на целые города и царства.

Иногда дорога шла в высоком травостое, где шевелилась самочинная животная жизнь, – и тогда войско пело песни, в которых лилось золото самородных раздумий и светилась воля, как росная влага.

Раскольники думали, что теперь конец их укромной вере, конец злосчастью и начинается шумная беспрепятственная жизнь, схожая с ветром, чешущим степное разнотравье.

Кормилось войско в Старо-Хмырском староверском монастыре – гречневой кашей и молоком.

До Пиотровского завода остался один денной переход. Если никто не докажет на Жоха прежде времени, – то завод будет взят молчком.

К вечеру другого дня, как ушли из Аушина, началось предгорье – скоро должен быть завод.

Напоило войско коней в реке Альме, сказал Жох боевое слово – и войско тронуло коней на степную рысь, чтобы размять немного.

Окружили раскольники ночью завод и замерли до приказа Жоха.

Уже шла полуночь. Месяц блестел на стеклах заводской рабочей слободы, и собаки угомонились, не чуя в поникшей степи опасного звука.

Всадники лежали в траве, а лошади негромко жевали последний овес и накапливали силу для скачки.

Ход месяца по небу был виден глазам, и его свет так рассеивался в степи, что земля пропадала на своем краю и сливалась с трепещущим ночным небом.

Наконец, ночь, месяц и близкое утро вошли друг в друга, и весь мир смешался в неясное томящееся привидение.

Тогда Жох дал свой позыв войску – гулкий длинный свист и двукратный хриплый крик.

Раскольники вцепились в коней и схватились за оружие – кто какое имел.

Но вдруг припогас и пошатнулся месяц в высоте – и вздрогнуло войско, как одна душа.

С завода гулко вдарила пушка-единорог и близко пала трава от картечи. Взрыв долго несся по гулкому лунному пространству, потом перешел в дальний стон и замер в неизвестных местах, ущемляя страхом непричастных зверей.

Жох завыл от страсти боя и злобы – и закричал всему войску свой приказ царя. Всадники бросились на завод, тревожа ногами трепещущих коней и крича голосом для ужаса врага.

Но единорог начал бить беспрестанно, и еще два скрытых единорога тоже открыли пальбу. Со стен завода заискрилась ружейная стрельба – и степь стала шумящим потопом смертной страсти и отчаянья.

Со всей мочью крушили расстояние до завода раскольничьи степные кони.

Жох летел впереди и неустанно кричал нестерпимые ругательства, вспоминая острожный нахальный язык.

Всадники сразу пронизали слободку, подняли на ноги всю домашнюю собачью стаю и разбудили петухов.

Пушки за огорожей завода работали не переставая, а солдаты царицы палили из пищалей и ружей, торча на заборах слободы. Но раскольники, теряя убитых, бросились прямо на завод за артиллерией и офицерами.

Жох круто воткнулся мордой лошади в заводские ворота и начал их в неистовстве рубить палашом. Но тут в тугой упор – из щелей кованых железом ворот – дали залп, и донской жеребец, ревевший на скаку, молча подломил под себя ноги и лег, умерев еще на ногах.

Жох прыгнул на коня своего соседа, сбросил с коня соучастника и в лютом бешенстве, побледнев до свечения лица, поскакал в степь. За ним – в угон – бросились уцелевшие раскольники, терзая чем попало усердных коней.

Люди, потерявшие коней, бежали, пешими, но скоро они пропали с глаз и пали безвестной смертью: кто от картечи единорогов, кто от телесной истомы, а кто так навсегда запропастился в степи.

Пушки метали столбы земли впереди скачущих и отрезали отступление мятущимся мятежникам. Но раскольники, в забвенном бесчинстве, проскочили через эту смерть и опомнились уже в горной долине под ранним прохладным солнцем.

Отдышавшись, люди окружили Жоха.

– В Сибирь – на Зауралье! – сказал Жох. – Вертаться домой

теперча немыслимо – там, должно, Катькино войско пришло! Какой-то змей про все доказал!

В полдень остатки войска тянулись через уральские перевалы на восток, в пустынную тайную Сибирь, в соседство простого зверя и кроткой травы – подалее от злого иноверца-человека.

На хрестце последнего кряжа, перед спуском в долины Сибири, Жох окоротил коня.

Понурые люди проехали мимо него, не видя сумрачной, дикой скорби, вечной природы.

Жох постоял, оглянулся на Россию, рассеянную в бесконечном подсолнечном пространстве, и сделал рукою какое-то невнятное иносказание – не то прощаясь до счастливой встречи, не то горюя навсегда.

Затем он шевельнул коня и поехал немым загроможденным ущельем – вослед своему растерянному отряду, бредущему на затихших конях в неведомые края.

– Теща! – крикнул Жох нищему, бывшему в войске заодно со всеми.

– Чего, государь? – отозвался Теща.

– Ты что думаешь? – спросил Жох.

– А тож самое, что и думал! – сказал Теща и сошел с коня по нужде. Жох тоже придержал лошадь.

– Без своего царствия – нам жить нигде неуместно! – говорил Теща, кряхтя в бурьяне. – Надо... необжитую землю сыскать... там и станем на земной причал...

5.

В спешке шел девятнадцатый год.

Но ничто не изменилось в равнинах и тайге – и года могли бы не надоедать: все равно природа здесь не шевелится.

Нас тянули люди и события. Нас удручали бессмысленные роскошные ландшафты, по которым мы двигались третий месяц, с переполненной ядом усталости кровью.

Нам так было скучно, что мы возненавидели друг друга.

Четыре красно-зеленых партизана оторвались от своего отряда и три недели хоронились от колчаковских войск. Я был пятый – и самый лишний.

На четвертую неделю, теряя последнее мужество, нищенствуя по редким заимкам, мы вышли на среднюю Обь.

Мы знали, что Колчак начал большое наступление на красных, что партизаны рассеялись по тайге, и впали в удручение.

Горюя и жалуясь, сидели мы в полдень на берегу Оби и слушали тоскующий поток воды. Мы так устали, что не ощущали полностью

себя, сомневаясь – те ли мы самые, что когда-то были детьми и имели родных матерей; точно ли звали меня Алексеем – и не обменялся ли нечаянно я на кого-то другого в трудном фантастическом пути.

Нам недоставало зрелости, чтобы окунуться навсегда в печальную воду Оби и слиться с общей покорной жизнью грустной природы.

Самый старший и стойкий из нас вдруг замечтал о Москве, устав удавливать вшей в зловещем сюртуке, заменявшем ему рубашку и штаны.

И тут мы торжественно решили пробиваться на Москву и начинать жить. Мы обсуждали свой поход так же важно, как рождение в жизнь.

Мы уходили к устью Оби.

Туда каждый год в июле приходят из Архангельска и Мурманска торговые корабли. С ними мы хотели пробраться через север в Москву – город, очаровавший нас неимоверной жизнью, цветущей уже второй год.

Скорбь и озлобление остыли в нас; кровь забормотала в сердце – и мы тронулись дальше, ругая бессильные ноги.

– Куда ж мы идем? – спросил я, опять нечаянно упав душою. Мне захотелось лечь в траву, забраться в бор и отдохнуть сразу за всех предков.

– Как куда? – спросил спутник по имени товарищ Удавец. – К Ленину в соседи. Во куда!

На вечер мы шевелились в глухом древнем бору. Здесь даже птицы не пели и ничто живое не суетилось – такова была темь и гуща.

Мы еле лезли в этой тишине, изредка вереща слабыми голосами и расшвыривая наиболее нахальных вшей, двигавшихся по нашим мрачным лицам.

И вдруг засерело – бор либо кончался, либо переходил в поляну.

Я втайне решил, что лягу на этой поляне до рассвета – больше не могу; даже моя терпеливая мысль начала показывать мне одни привидения. И тут я со сладострастием подумал о смерти. Как действительно хорошо перемешаться с сырой старой землей и застлаться вечным забвением!

В смраде истощенного сознания я вспомнил об инстинкте смерти и понял его.

– Вы кто бываете? – невнятно сказал кто-то.

Но мы уже лежали безответными, нюхая сытную покойную почву и забывая себя, будто множась на части.

Утром нас так пробрал холод, что мы сразу стали людьми и вспомнили всю свою биографию.

Перед нами стоял старик в длинной холстинной рубашке и без порток. А за ним – в немощном свете бесшумного солнца – светился каменный вечный невозможный город.

Стиль города был надменен и задумчив, как гордость мудреца, достигнувшая последнего предела понимания. Архитектура зданий напоминала ионическую культуру, но до нее отсюда было пять тысяч верст.

Холщевый старик повел нас куда-то.

Мы пошли, потому что нам было все равно.

Захар, наш товарищ, скоро обнаружил, что женщин не видать. Хотя, на что они нам нужны?

Но все равно. Нас, конечно, накормили – тогда мы почувствовали, что жизнь не бред, а существо твердое и блаженное.

Мы было приготовились отдохнуть, но нас повели опять в бор. Мы сопротивлялись, но жители того места окружили нас тучей и, не спрашивая нашего происхождения, вывели через бор к Оби. Там стояла лодка, мы в нее сели, нам дали проводника и оттолкнули от берега. Но, правда, на дно лодки поставили много сытной пищи в деревянных ведрах.

И мы поплыли дальше – к Ледовитому океану, отчасти довольные встречей с городом.

Отлежавшись, я разговорился с нашим проводником. Времени много. Обь длинна, лес растет медленно, и небо замечательно до скучной грусти – что будешь делать?

Проводник наш оказался тоже беглецом. Его отправили с нами в безвозвратное путешествие. Он забрел сюда из колчаковской армии – по тем же простым причинам, что и мы.

Звали его Кузьма Сорокин, чином – поручик. Но нам теперь было все равно. На Оби тогда не имелось классового общества, и Сорокин был явно безвреден. Но он прожил в том месте, откуда нас выгнали, больше, чем мы – и этим нас превосходил.

Сорокин тоже не обратил внимания, что мы красные, и даже обрадовался нам, но, наверно, впоследствии ошибся.

Длинный день он рассказывал мне свою историю, а потом перешел на скитания по тайге.

Того я и ждал.

Лодка плыла по силе течения, и Сорокин только направлял ее по середине реки, бессознательно подчиняясь красному большинству. А мы не возражали против его малой работы.

Оказалось, что то поселение, откуда мы тронулись утром, есть преуспевающий раскольничий скит. У сибирских староверов он известен под именем Вечного-Града-на-Дальней-реке.

– Скит этот весьма замечателен, – говорил, немного увлекаясь, Сорокин. – В нем жил в середине девятнадцатого столетия игумен Георгий – по прозвищу Царь – потомок основателя скита, некоего Семена Тещи. А кто такой Теща – никому неизвестно, но большой силы

человек! Говорят, у Тещи был не то брат, не то приятель – какой-то Иван Жох.

Этот Жох выдавал себя за царя Петра Федоровича, как и Емельян Пугачев. Но Теща удушил угаром этого Жоха за то, что Жох выписал себе жену с Урала, где он когда-то жил и буйствовал против Екатерины Великой. Бабу Жоха этот самый Теща пожалел – она затяжелела ребенком. Потом зачала она сына и от Тещи. Но как только разродилась она от него Георгием, Теща ей вырезал хлебным ножом матку, и она скончалась. А мальчик – и тот, и другой от нее – остались жить в скиту. Потом, когда вырос мальчик Жоха, привел жену – и так и жил. Теща уже умер, а раскольники-скопцы хоть и не любили женщин, но сыну Жоха простили женитьбу, потому что он был очень красив и ласков, как свет божий. А потом уж и внуку старики не препятствовали в любви. – У тебя нет закурить?

– Нет, – ответил я, позабыв, что у меня есть махорка.

– Игумен Георгий, – продолжал Сорокин, не обращая на меня внимания, – оставил после себя большую философскую рукопись на старославянском языке. Писал философию свою он всю жизнь. Наверное, не спешил. В философию вложил Георгий все свое одинокое, восторженное и свежее сердце. Он думал годами над одним и тем же в ничем нерушимом покое тайги... – Тебе не скучно слушать? Может, ты лечь хочешь, то ложись – твои ребята уже спят!

Я ничего не ответил Сорокину, зная, что он сам кончит рассказ.

На удивление – в Вечном-Граде-на-Дальней-реке все жилища и церковь построены из камня, а не из дерева. Живут там крепкие люди, которые не зря променяли мир на изгнание.

– И этот Вечный Град, – доказывал Сорокин, – живет и сейчас в большом, брат, достатке и благополучии. Все оттого, что в нем после смерти Тещи наступил взаимный мир, а трудились раскольники всегда хорошо, поэтому и стал Вечный Град тайной и самой богатой раскольничьей столицей.

– Наверно, богатство и было настоящей силой, что влекла сюда истинных раскольничьих людей? – точимый любопытством вставил я. – Все прочее – вера в правильность двуперстного сложения руки, осьмиконечный крест, борода и другое – было так, лишь для признака дружной хозяйственной жизни. А этот Георгий – случайность, так сказать, жемчужина мечты в том царстве покойного богатства и сытой жизни, что вы прозвали Вечным-Градом-на-Дальней-реке?

Лодка влеклась сама по себе, вода пахла брагой, тянуло на длинный разговор, но проводник замолчал.

– А откуда ты знаешь про все эти подробности? – спросил я тут Сорокина.

– Как же! Я родился в Вечном Граде!

– Ну? – удивился и обрадовался я.

– Верно говорю! Я как раз сын внука Ивана Жоха. У меня мать была Сорокина. Родом она с Кубани, а в Сибирь приехала с первым мужем – переселенцем из Воронежской губернии. Тут ее увидел на ярмарке мой отец и отбил у первого мужа... Старики в нашем скиту все помнят, от них я и знаю всю эту историю!

– А как твоего отца звали? – зачем-то узнавал я.

– Лука! – ответил Сорокин.

– А почему же тебя прогнали из Вечного Града, раз ты родился там?

– Меня не прогнали: я сам еду!

– Куда?

– Через Архангельск на юг – к генералу Деникину! Драться с красными.

– За что?

– За веру, за Вечный Град, за тишину истории.

Спутники мои проснулись, то есть их разбудила нательная вошь.

– Будя бурчать вам! – осерчал Захар. – Спать не дали: орут над ухом!

Захар из нас был младший и самый вкусный – его особенно точила вошь, а он думал со злости, что мы его разбудили.

Обь вытянулась в прямую и блестела под склонившимся солнцем, как Млечный Путь, как серебряное руно в дальней стране.

По берегам реки росли какие-то горы, но нас интересовала Москва.

Ночью я хотел убить Сорокина, но классовой силы у меня не хватило.

За меня сделал это другой: таманьский командир в камере Армавирской тюрьмы в 1920 году.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ

Пожилой человек любил транспорт наравне с кооперативами и перспективой будущего строительства. Утром он закусывал вчерашней мелочью и выходил наблюдать и наслаждаться. Сначала он посещал вокзал, преимущественно товарные платформы прибытия грузов, и там был рад накоплению товаров. Паровоз, сопя гущей своих мирных сил, медленно осаживал вагоны, полные общественных веществ: бутылей с серной кислотой, бугров веревок, учрежденческой клади и необозначенных мешков с чем-то полезным. Пожилой человек, по имени Петр Евсеевич Веретенников, был доволен, что их город снабжается, и шел на платформу отправления посмотреть, уходят ли оттуда поезда в даль Республики, где люди работают и ожидают грузов. Поезда уходили со сжатыми рессорами, — столько везли они необходимой тяжести. Это тоже удовлетворяло Петра Евсеича, — тамошние люди, которым назначались товары, будут обеспечены.

Невдалеке от станции строился поселок жилищ. Петр Евсеевич ежедневно следил за ростом сооружений, потому что в теплоте их крова приютятся тысячи трудящихся семейств и в мире после их поселения станет честней и счастливей. Покидал строительство Петр Евсеевич уже растроганным человеком — от вида труда и материала. Все это заготовленное добро посредством усердия товарищеского труда вскоре обратится в прочный уют от вреда осенней и зимней погоды, чтобы самое содержание государства, в форме его населения, было цело и покойно.

На дальнейшем пути Петра Евсеевича находился небольшой, уже использованный сельской общественностью лес, лишь изредка обогащенный строевыми, хотя и ветшающими соснами. В межевой канаве того малого леса спал землемер; он был еще не старый, но изжитый, видимо, ослабевший от землеустройства человек. Рот его отворился в изнеможении сна, и жизненный тревожный воздух смоляной сосны входил в глубину тела землемера и оздоровлял его

там, чтобы тело вновь было способно к землеустройству пахарей хлеба. Человек отдыхал и наполнялся счастьем попутного покоя; его инструменты – теодолит и мерная лента – лежали в траве, их спешно обследовали муравьи и сухой паучок, проживающий от скупости всегда единолично. Петр Евсеевич нарвал травы среди ее канавного скопища, оформил ту траву в некую мякоть и подложил ее под спящую голову землеустроителя, осторожно побеспокоив его, чтоб получилось удобство. Землемер не проснулся, – он лишь простонал что-то, как жалобная сирота, и вновь опустился в сон. Но отдыхать на мягкой траве ему уже было лучше. Он глубже поспит и точнее измерит землю, – с этим чувством своего полезного участия Петр Евсеевич пошел к следующим делам.

Лес быстро прекращался, и земля из-под деревьев переходила в овражные ущербы и в еще несверстанную чересполосицу ржаных наделов. А за рожью жили простые деревни, и над ними – воздух из жуткого пространства, Петр Евсеевич считал и воздух благом, – оттуда поставлялось дыхание на всю площадь государства. Однако безветренные дни его беспокоили: крестьянам нечем молоть зерно, и над городом застаивается зараженный воздух, ухудшая санитарное условие. Но свое беспокойство Петр Евсеевич терпел не в качестве страдания, а в качестве заботливой нужды, занимающей своим смыслом всю душу и делающей поэтому неощутимой собственную тяжесть жизни. Сейчас Петр Евсеевич несколько волновался за паровоз, который с резкой задыхающейся отсечкой пара, доходившей до напряженных чувств Петра Евсеевича, а взволакивал какие-то грубые грузы на подъем. Петр Евсеевич остановился и с сочувствием помощи вообразил мучение машины, гнетущей вперед и на гору косность осадистого веса.

– Лишь бы что не лопнуло на сцепках, – прошептал Петр Евсеевич, сжимая зубы меж зудящих десен. – И лишь бы огню хватило,– ведь он там воду жжет! Пусть потерпит, теперь недалеко осталось...

Паровоз со скрежетом бандажей пробуксовывал подъем, но не сдавался влипающему в рельсы составу. Вдруг паровоз тревожно и часто загудел, прося сквозного прохода: очевидно, был закрыт семафор; машинист боялся, что, остановившись, он затем не возьмет поезда в упор подъема.

"И что это делается, господи боже мой!"– горестно поник Петр Евсеевич и энергично отправился на вокзал – рассмотреть происшествие.

Паровоз дал три свистка, что означает остановку, а на вокзале Петр Евсеевич застал полное спокойствие. Он сел в зале третьего класса и начал мучиться: "Где же тут государство? – думал Петр Евсеевич. – Где же тут находится автоматический порядок?"

– Щепотко! – крикнул дежурный агент движения составителю

поездов. – Пропускай пятьдесят первый на восьмую. Сделай механику и главному отметку, что нас транзитом забили. Ты растаскал там цистерны?

– Так точно! – ответил Щепотко. – Больше пока ничего не принимайте, – мне ставить некуда. Надо пятьдесят первый сработать.

"Теперь мне вполне понятно, – успокоился Петр Евсеич. – Государство тут есть, потому что здесь забота. Только надо населению сказать, чтоб оно тише существовало, иначе машины лопнут от его потребностей".

С удовлетворенным огорчением Петр Евсеевич покинул железнодорожный узел, чтобы посетить ближнюю деревню, под названием Козьма.

В той Козьме жило двадцать четыре двора. Дворы расположились по склонам действующего оврага и уже семьдесят лет терпели такое состояние. Кроме оврага, деревню мучила жажда, а от жажды люди ели плохо и не размножались как следует. В Козьме не было свежей и утоляющей воды, – имелся небольшой пруд среди деревни, внизу оврага, но у этого пруда плотина была насыпана из навоза, а вода поступала из-под жилья и с дворовых хозяйственных мест. Весь навоз и мертвые остатки человеческой жизни смывались в ложбину пруда и там отстаивались в желто-коричневый вязкий суп, который не мог служить утоляющей влагой. Во время общегражданских заболеваний, а именно холеры, тифа или урожая редкого хлеба, потому что в здешней почве было мало тучного добра, – люди в Козьме ложились на теплые печи и там кончались, следя глазами за мухами и тараканами. В старину, говорят, в Козьме было до ста дворов, но теперь нет следов прошлой густоты населений. Растительные кущи покрыли обжитые места вымороченных усадеб, и под теми кущами нет ни гари, ни плешин от кирпича или извести. Петр Евсеевич уже рылся там, – он не верил, чтобы государство могло уменьшиться, он чувствовал размножающуюся силу порядка и социальности, он всюду наблюдал автоматический рост государственного счастья.

Крестьяне, проживающие в Козьме, уважали Петра Евсеевича за подачу им надежды и правильно полагали, что их нужду в питье должна знать вся Республика, а Петр Евсеевич в том их поддерживал:

– Питье тебе предоставят, – обещал он. – У нас же государство. Справедливость происходит автоматически, тем более питье! Что это – накожная болезнь, что ли? Это внутреннее дело, – каждому гражданину вода нужна наравне с разумом!

– Ну, еще бы! – подтверждали в Козьме. – Мы у советской власти по водяному делу на первой заметке стоим. Черед дойдет – и напьемся! Аль мы не пили сроду? Как в город поедешь, так и пьешь.

— Совершенно верно, — определял Петр Евсеевич. — Да еще и то надо добавочно оценить, что при жажде жизнь идет суше и скупее, ее от томления больше чувствуешь.

— От нее без воды деться некуда, — соглашались крестьяне. — Живешь — будто головешку из костра проглотил.

— Это так лишь мнительно кажется, — объяснял Петр Евсеевич. — Многое покажется, когда человеку есть желание пить. Солнце тоже видится тебе и нам жарой и силой, а его паром из самовара можно зазастить и потушить — сразу на скатерти холод настанет. Это только тебе и нам так воображается в середине ума...

Петр Евсеевич себя и государство всегда называл на "вы", а население на "ты", не сознавая, в чем тут расчет, поскольку население постоянно существует при государстве и обеспечивается им необходимой жизнью.

Обычно в Козьме Петру Евсеичу предлагали чего-нибудь поесть — не из доброты и обилия , а из чувства безопасности. Но Петр Евсеич никогда не кушал чужой пищи: ведь хлеб растет на душевном наделе, и лишь на одну душу, а не на две, — так что есть Петру Евсеичу было не из чего. Солнце — оно тоже горит скупо и социально: более чем на одного трудящегося едока оно хлеба не нагревает, стало быть вкушающих гостей в государстве быть не должно.

Среди лета деревня Козьма, как и все сельские местности, болела поносом, потому что поспевали ягоды в кустах и огородная зелень. Эти плоды доводили желудки до нервности, чему способствовала водяная гуща из пруда. В предупреждение этого общественного страдания козминские комсомольцы ежегодно начинали рыть колодцы, но истощались мощью непроходимых песков и ложились на землю в тоске тщетного труда.

— Как это вы все делаете без увязки? — сам удручался и комсомольцев упрекал Петр Евсеевич. — Ведь тут грунт государственный, государство вам и колодезь даст — ждите автоматически, а пока пейте дожди! Ваше дело — пахота почвы в границах надела.

Покидал Козьму Петр Евсеевич с некоторой скорбью, что нет у граждан воды, но и со счастьем ожидания, что, стало быть, сюда должны двигаться государственные силы и он их увидит на пути. Кроме того, Петр Евсеевич любил для испытания ослабить свой душевный покой посредством и организации малого сомнения. Это малое сомнение в государстве Петр Евсеевич выносил с собой из Козьмы вследствие безводия деревни. Дома Петр Евсеевич вынимал старую карту Австро-Венгрии и долгое время рассматривал ее в спокойном созерцании; ему дорога была не Австро-Венгрия, а очерченное границами живое государство, некий огороженный и защищенный смысл гражданской жизни. Под картиной севастопольского сражения, которая украшала теплое, устойчивое жилище Петра Евсеича,

висела популярная карта единого Советского Союза. Здесь Петр Евсеевич наблюдал уже более озабоченно: его беспокоила незыблемость линии границ. Но что такое граница? Это замерший фронт живого и верного войска, за спиною которого мирно вздыхает согбенный труд.

В труде есть смирение расточаемой жизни, но зато это истраченная жизнь скопляется в виде государства — и его надо любить нераздельной любовью, потому что именно в государстве неприкосновенно хранится жизнь живущих и погибших людей. Здания, сады и железные дороги — что это иное, как не запечатленная надолго кратковременная трудовая жизнь? Поэтому Петр Евсеевич правильно полагал, что сочувствовать надо не преходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в образе государства. Тем более необходимо было беречь всякий труд, обратившийся в общее тело государства.

"Нет ли птиц на просе? — с волнением вспоминал Петр Евсеевич. — Поклюют молодые зернышки, чем тогда кормиться населению?"

Петр Евсеевич поспешно удалялся на просяное поле и, действительно заставал там питающихся птиц.

"И что же это делается, господи боже ты мой? Что ж тут цело будет, раз никакому добру покоя нет? Замучили меня эти стихии — то дожди, то жажда, то воробьи, то поезда останавливаются! Как государство-то живет против этого? А люди еще обижаются на страну: разве они граждане? Они потомки орды!"

Согнав птиц с проса, Петр Евсеевич замечал под ногами ослабевшего червя, не сумевшего уйти влед за влагой в глубину земли.

"Этот еще тоже существует — почву гложет! — сердился Петр Евсеевич. — Без него ведь никак в государстве не обойдешься! — и Петр Евсеевич давил червя насмерть: пусть он теперь живет в вечности, а не в истории человечества, здесь и так тесно".

В начале ночи Петр Евсеевич возвращался на свою квартиру. Воробьи тоже теперь угомонились и жрать на просо не придут; а за ночь зернышки в колосьях более созреют и окрепнут — завтра их выклевать будет уже трудней. С этим успокоительным размышлением Петр Евсеевич подъедал крошки утреннего завтрака и преклонял голову ко сну, но заснуть никак не мог; ему начинало что-нибудь чудиться и представляться; он прислушивался — и слышал движение мышей в кооперативах, а сторожа сидят в чайных и следят за действием радио, не доверяя ему от радости; где-нибудь в редко посещаемой степи кулаки сейчас гонятся за селькором, и одинокий государственный человек падает без сил от ударов толстой силы, подобно тому как от неуравновешенной бури замертво ложится на полях хлеб жизни.

Но память милосердна – Петр Евсеевич вспомнил, что близ Урала и Сибири – он читал в газете – начат возведением мощный завод сложных молотилок, и на этом воспоминании Петр Евсеевич потерял сознание.

А утром мимо его окон проходили на работу старики-кровельщики, нес материал на плече стекольщик, и кооперативная телега везла говядину; Петр Евсеевич сидел, как бы пригорюнившись, но сам наслаждался тишиной государства и манерами трудящихся людей. Вон пошел в потребительскую пекарню смирный, молчаливый старичишка Терморезов; он ежедневно покупает себе на завтрак булочку, а затем уходит трудиться в сарай Копромсоюза, где изготовляются веревки из пеньки для нужд крестьянства.

Разутая девочка тянула за веревку козла – пастись на задних дворах; лицо козла, с бородкой и желтыми глазами, походило на дьявола, однако его допускали есть траву на территории, значит козел был тоже важен.

"Пускай и козел будет, – думал Петр Евсеевич. – Его можно числить младшим бычком".

Дверь в жилище отворилась и явился знакомый крестьянин – Леонид из Козьмы.

– Здравствуй, Петр Евсеич – сказал Леонид. – Вчерашний день тебе бы у нас обождать, а ты поспешил на квартиру...

Петр Евсеевич озадачился и почувствовал испуг.

– А что такое вышло? А? Деревня-то цела, на месте? Я видел, как один нищий окурок бросал, не спалил он ли имущество?..

– От окурка-то деревня вполне сохранилась... А – только что ты вышел – с другого конца два воза едут, а сзади экипаж и в нем старик. Старик говорит:"Граждане, а не нужна ли вам глубокая вода?" Мы говорим:"Нужна, только достать ее у нас мочи нет". А старик сообщает: "Ладно, я – профессор от государства и вам достану воду из материнского пласта". Старик поночевал и уехал, а два техника с инструментом остались и начали почву щупать внутрь. Теперь мы, Петр Евсеевич, считай, будем с питьем. За это я тебе корчажку молока завез; если б не ты, мы либо рыли зря, либо не пивши сидели, а ты ходил и говорил: ждите движения государства, оно все предвидит. Так и вышло. Пей, Петр Евсеич, за это наше молоко...

Петр Евсеевич сидел в разочаровании, он опять пропустил мимо себя живое государство и не заметил его чистого первоначального действия.

– Вот, – сказал он Леониду. – Вот оно приехало и выбыло. Из сухого места воду вам добудут, вот что значит оно!

– Кто же это такое? – тихо спросил Леонид.

– Кто! – отвлеченно произнес Петр Евсеевич. – Я сам не знаю

кто, я только его обожаю в своем промышлении, потому что я и ты лишь население. Теперь я все вижу, Леонид, и замру в надежде. Пускай птицы клюют просо, пускай сторожа в кооперативе на радио глядят, а мыши кушают добро, – государство внезапно грянет и туда, а нам надо жить и терпеть.

– Это верно, Петр Евсеич, всегда до хорошего дотерпишься, когда ничего не трогаешь.

– Вот именно, Леонид! – согласился Петр Евсеевич. – Без государства ты бы молочка от коровы не пил.

– А куда ж оно делось бы? – озаботился Леонид.

– Кто ж его знает, куда! Может и трава бы не росла.

– А что ж было бы?

– Почва, Леонид, главное дело – почва! А почва ведь и есть государственная территория, а территории тогда бы и не имелось! Где ж бы твоей траве поспеть было? В безвестном месте она не растет – ей требуется территория и землеустройство. В африканской Сахаре вон нету государства, и в Ледовитом океане нет, от этого там и не растет ничего: песок, жара да мертвые льды!

– Позор таким местам! – твердо ответил Леонид и сразу смолк, а потом добавил обыкновенным человеческим голосом: – Приходи к нам, Петр Евсеевич, без тебя нам кого-то нехватает.

– Были бы вы строгими гражданами, тогда бы вам всего хватило, – сказал Петр Евсеевич.

Леонид вспомнил, что воды в Козьме еще нет и напился из ведра Петра Евсеевича в запас желудка.

После отъезда крестьянина Петр Евсеевич попробовал подаренного молока и пошел ходить среди города. Он щупал на ходу кирпич домов, гладил заборы, а то, что недостижимо ощущению, благодарно созерцал. Быть может люди, что творили эти кирпичи и заборы, уже умерли от старости и от истощения труда, но зато от их тела остались кирпичи и доски – предметы, которые составляют сумму и вещество государства. Петр Евсеевич давно открыл для своей радости, что государство – полезное дело погибшего, а также живущего, но трудящегося населения; без произведения государства население умирало бы бессмысленно.

В конце пути Петр Евсеевич нечаянно зашел на вокзал, – он не особо доверял железной дороге, слыша оттуда тревожные гудки паровозов. И сразу же Петр Евсеевич возмутился: в зале третьего класса один мальчик топил печку казенными дровами, несмотря на лето.

– Ты что, гадина, топливо жгешь? – спросил Петр Евсеевич.

Мальчик не обиделся, он привык к своей жизни.

– Мне велели, – сказал он. – Я за это на станции ночую.

Петр Евсеевич не мог подумать, в чем тут дело, отчего летом требуется нагрев печей. Здесь сам мальчик помог Петру Евсеевичу рассеяться от недоразумения: на станции были залежи гнилых шпал. Чтобы их не вывозить, велено было сжечь в печках помещений, а тепло выпустить в двери.

– Дай мне, дядь, копейки две! – попросил после рассказа мальчик.

Просил он со стыдом, но без уважения к Петру Евсеевичу. Для Петра же Евсеевича дело было не в двух копейках, а в месте, которое занимал этот мальчик в государстве: необходим ли он? Такая мысль уже начала мучить Петра Евсеевича. Мальчик неохотно сообщил ему, что в деревне у него живут мать и сестры-девки, а едят одну картошку. Мать ему сказала: ”Поезжай куда-нибудь, может быть ты себе жизнь где-нибудь найдешь. Что ж ты будешь с нами страдать, – я ведь тебя люблю”. Она дала сыну кусок хлеба, который заняла на хуторах, а, должно быть, врет – ходила побираться. Мальчик взял хлеб, вышел на разъезд и залез в пустой вагон. С тех пор он и ездит: был в Ленинграде, в Твери, в Москве и Торжке, а теперь – тут. Нигде ему не дают работы, говоря; в нем силы мало и без него много круглых сирот.

– Что ж ты будешь делать теперь? – спрашивал его Петр Евсеевич. – Тебе надо жить и ожидать, пока государство на тебя оглянется.

– Ждать нельзя, – ответил мальчик. – Скоро зима настанет, я боюсь тогда умереть. Летом и то помирают. Я в Лихославле видел, – один в ящик с сором лег спать и там умер.

– А к матери ты не хочешь ехать?

– Нет. Там есть нечего, сестер много, – они рябые, их мужики замуж не берут.

– Что ж им своевременно оспу не привили? Ведь фельдшера на казенный счет ее прививают?

– Не знаю, – сказал мальчик равнодушно.

– Ты вот не знаешь, – раздраженно заявил Петр Евсеевич, – а вот теперь о тебе заботься! Во всем виновато твое семейство: государство ведь бесплатно прививает оспу. Привили бы ее твоим сестрам, когда нужно было, и сестры бы замужем давно были и тебе бы место дома нашлось! А раз вы не хотите жить по государству, – вот и ходите по железным дорогам. Сами вы во всем виноваты – так пойди матери и скажи! Какие же я тебе две копейки после этого дам? Никогда не дам! Надо, гражданин, оспу вовремя прививать, чтоб потом не шататься по путям и не ездить бесплатно в поездах!

Мальчик молчал. Петр Евсеевич оставил его одного, не жалея больше виноватого.

Дома он нашел повестку: явиться завтрашний день на биржу

труда для очередной перерегистрации, – там Петр Евсеевич состоял безработным по союзу совторгслужащих и любил туда являться, чувствуя себя служащим государству в этом учреждении.

УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР

Среди прочих трудящихся масс жили два члена государства: нормальный мужик Макар Ганушкин и более выдающийся – товарищ Лев Чумовой, который был наиболее умнейшим на селе и, благодаря уму, руководил движением народа вперед, по прямой линии к общему благу. Зато все население деревни говорило про Льва Чумового, когда он шел где-либо мимо:

– Вон наш вождь шагом куда-то пошел, – завтра жди какого-нибудь принятия мер. Умная голова, только руки пустые. Голым умом живет...

Макар же, как любой мужик, больше любил промыслы, чем пахоту, и заботился не о хлебе, а о зрелищах, потому что у него была, по заключению товарища Чумового, порожняя голова.

Не взяв разрешения у товарища Чумового, Макар организовал однажды зрелище – народную карусель, гонимую кругом себя мощностью ветра. Народ собрался вокруг макаровой карусели сплошной тучей и ожидал бури, которая могла бы стронуть карусель с места. Но буря что-то опаздывала, народ стоял без делов, а тем временем жеребенок Чумового сбежал в луга и там заблудился в мокрых местах. Если б народ был на покое, то он сразу поймал бы жеребенка Чумового и не позволили бы Чумовому терпеть убыток, но Макар отвлек народ от покоя и тем помог Чумовому потерпеть ущерб.

Чумовой сам не погнался за жеребенком, а подошел к Макару, молча тосковавшему по буре, и сказал:

– Ты народ здесь отвлекаешь, а у меня за жеребенком погнаться некому...

Макар очнулся от задумчивости, потому что догадался. Думать он не мог, имея порожнюю голову над умными руками, но зато он мог сразу догадываться.

— Не горюй, — сказал Макар товарищу Чумовому: — я тебе сделаю самоход.

— Как? — спросил Чумовой, потому что не знал, как своими пустыми руками сделать самоход.

— Из обручей и веревок, — ответил Макар, не думая, а ощущая тяговую силу и вращение в тех будущих веревках и обручах.

— Тогда делай скорее, — сказал Чумовой: — а то я тебя привлеку к законной ответственности за незаконные зрелища.

Но Макар думал не о штрафе, — думать он не мог, — а вспоминал, где он видел железо, и не вспомнил, потому что вся деревня была сделана из поверхностных материалов: глины, соломы, дерева и пеньки.

Бури не случилось, карусель не шла, и Макар вернулся ко двору.

Дома Макар выпил от тоски воды и почувствовал вяжущий вкус той воды.

"Должно быть, оттого и железа нету, — догадался Макар, — что мы его с водой выпиваем."

Ночью Макар полез в сухой, заглохший колодезь и прожил в нем сутки, ища железа под сырым песком. На вторые сутки Макара вытащили мужики под командой Чумового, который боялся, что погибнет гражданин помимо фронта социалистического строительства... Макар был неподъемен, — у него в руках оказались коричневые глыбы железной руды. Мужики его вытащили и прокляли за тяжесть, а товарищ Чумовой пообещал дополнительно оштрафовать Макара за общественное беспокойство.

Однако Макар ему не внял и через неделю сделал из руды железо в печке, после того как его баба испекла там хлебы. Как он отжигал руду в печке, — никому не известно, потому что Макар действовал своими умными руками и безмолвной головой. Еще через день Макар сделал железное колесо, а затем еще одно колесо, но ни одно колесо само не поехало; их нужно было катить руками.

Пришел к Макару Чумовой и спрашивает:

— Сделал самоход вместо жеребенка?

— Нет, — говорит Макар: — я догадывался, что они бы должны сами покатиться, а они — нет.

— Чего же ты обманул меня, стихийная твоя голова! — служебно воскликнул Чумовой. — Делай тогда жеребенка!

— Мяса нет, а то бы я сделал, — отказался Макар.

— А как же ты железо из глины сделал? — вспомнил Чумовой.

— Не знаю, — ответил Макар: — у меня памяти нет.

Чумовой тут обиделся.

— Ты, что же, открытие народнохозяйственного значения скрываешь, индивид-дьявол! Ты не человек, ты — единоличник! Я тебя сейчас кругом оштрафую, чтобы ты знал, как думать!

Макар покорился:

— А я же не думаю, товарищ Чумовой. Я человек пустой.

— Тогда руки укороти, не делай, чего не сознаешь, — упрекнул Макара товарищ Чумовой.

— Ежели бы мне, товарищ Чумовой, твою голову, тогда бы я тоже думал, — сознался Макар.

— Вот именно! — подтвердил Чумовой. — Но такая голова одна на все село, и ты должен мне подчиниться.

И здесь Чумовой кругом оштрафовал Макара, так что Макару пришлось отправиться на промысел в Москву, чтобы оплатить тот штраф, оставив карусель и хозяйство под рачительным попечением товарища Чумового.

Макар ездил в поездах девять лет тому назад, в девятнадцатом году. Тогда его везли задаром, потому что Макар был сразу похож на батрака, и у него даже документов не спрашивали. "Езжай далее, — говорила ему, бывало, пролетарская стража, — ты нам мил, раз ты гол".

Нынче Макар, так же как и девять лет тому назад, сел в поезд не спросясь, удивившись малолюдию и открытым дверям. Но все-таки Макар сел не в середине вагона, а на сцепках, чтобы смотреть, как действуют колеса на ходу. Колеса начали действовать и поезд поехал в середину государства — в Москву.

Поезд ехал быстрее любой полукровки. Степи бежали навстречу поезду и никак не кончались.

"Замучают они машину, — жалел колеса Макар. — Действительно, чего только в мире нет, раз он просторен и пуст".

Руки Макара находились в покое, их свободная умная сила пошла в его порожнюю емкую голову, и он стал думать. Макар сидел на сцепках и думал, что мог. Однако долго Макар не просидел. Подошел стражник без оружия и спросил у него билет. Билета у Макара с собой не было, так как по его предположению была советская, твердая власть, которая теперь и вовсе задаром возит всех нуждающихся. Стражник-контролер сказал Макару, чтобы он слезал от греха на первом полустанке, где есть буфет, дабы Макар не умер с голоду на глухом перегоне. Макар увидел, что о нем власть заботится, раз не просто гонит, а предлагает буфет, и поблагодарил начальника поездов.

На полустанке Макар все-таки не слез, хотя поезд остановился сгружать конверты и открытки из почтового вагона. Макар

вспомнил одно техническое соображение и остался в поезде, чтобы помогать ему ехать дальше.

"Чем вещь тяжелее, – сравнительно представлял себе Макар камень и пух: – тем оно далее летит, когда его бросишь; так и я на поезде еду лишним кирпичом, чтобы поезд мог домчаться до Москвы".

Не желая обижать поездного стражника, Макар залез в глубину механизма, под вагон, и там лег на отдых, слушая волнующуюся скорость колес. От покоя и зрелища путевого песка Макар глухо заснул и увидел во сне будто он отрывается от земли и летит по холодному ветру. От этого роскошного чувства он пожалел оставшихся на земле людей.

– Сережка, что же ты шейки горячими бросаешь!

Макар проснулся от этих слов и взял себя за шею: цело ли его тело и вся внутренняя жизнь?

– Ничего! – крикнул издали Сережка. – До Москвы недалече: не сгорит!

Поезд стоял на станции. Мастеровые пробовали вагонные оси и тихо ругались.

Макар вылез из-под вагона и увидел вдалеке центр всего государства – главный город Москву.

"Теперь я и пешком дойду! – сообразил Макар. – Авось, поезд домчится и без добавочной тяжести!"

И Макар тронулся в направлении башен, церквей и грозных сооружений – в город чудес науки и техники, чтобы добывать себе жизнь.

Сгрузив себя с поезда, Макар пошел на видимую Москву, интересуясь этим центральным городом. Чтобы не сбиться, Макар шагал около рельсов и удивлялся частым станционным платформам. Близ платформы росли сосновые и еловые леса, а в лесах стояли деревянные домики. Деревья росли жидкие, под ними валялись конфетные бумажки, винные бутылки, колбасные шкурки и прочее испорченное добро. Трава под гнетом человека здесь не росла, а деревья тоже больше мучались и мало росли.

Макар понимал такую природу неотчетливо:

"Не то тут особые негодяи живут, что даже растения от них дохнут! Ведь это весьма печально: человек живет и рожает близ себя пустыню! Где ж тут наука и техника?"

Погладив грудь от сожаления, Макар пошел дальше. На станционной платформе выгружали из вагона пустые молочные бидоны, а с молоком ставили в вагон. Макар остановился от своей мысли:

– Опять техники нет! – вслух определил Макар такое поло-

жение. – С молоком посуду везут – это правильно: в городе тоже живут дети и молоко ожидают. Но пустые бидоны зачем возить на машине? Ведь только технику зря тратят, а посуда объемистая!

Макар подошел к молочному начальнику, который заведовал бидонами и посоветовал ему построить отсюда и вплоть до Москвы молочную трубу, чтобы не гонять вагонов с пустой молочной посудой.

Молочный начальник Макара выслушал, – он уважал людей из масс, – однако, посоветовал Макару обратиться в Москву; там сидят умнейшие люди, и они заведуют всеми починками.

Макар осерчал:

– Так ведь ты же возишь молоко, а не они! Они его только пьют, им лишних расходов техники не видно!

Начальник объяснил:

– Мое дело наряжать грузы: я – исполнитель, а не выдумщик труб.

Тогда Макар от него отстал и пошел, усомнившись, вплоть до Москвы.

В Москве было позднее утро. Десятки тысяч людей неслись по улицам, словно крестьяне на уборку урожая.

"Чего же они делать будут? – стоял и думал Макар в гуще сплошных людей. – Наверно, здесь могучие фабрики стоят, что одевают и обувают весь далекий деревенский народ!"

Макар посмотрел на свои сапоги и сказал бегущим людям "спасибо!" – без них он жил бы разутым и раздетым. Почти у всех людей имелись подмышками кожаные мешки, где, вероятно, лежали сапожные гвозди и дратва.

"Только чего ж они бегут, силы тратят? – озадачился Макар. – Пускай бы лучше дома работали, а харчи можно по дворам гужом развозить!"

Но люди бежали, лезли в трамваи до полного сжатия рессор и не жалели своего тела ради пользы труда. Этим Макар вполне удовлетворился. "Хорошие люди, – думал он, – трудно им до своих мастерских дорваться, а охота!"

Трамваи Макару понравились, потому что они сами едут, и машинист сидит в переднем вагоне очень легко, будто он ничего не везет. Макар тоже влез в вагон без всякого усилия, так как его туда втолкнули задние спешные люди. Вагон пошел плавно, под полом рычала невидимая сила машины, и Макар слушал ее и сочувствовал ей.

"Бедная работница! – думал Макар о машине. – Везет и тужится. Зато полезных людей к одному месту несет, – живые ноги бережет"!

Женщина – трамвайная хозяйка – давала людям квитанции, но Макар, чтобы не затруднять хозяйку, отказался от квитанции:

– Я – так! – сказал Макар и прошел мимо.

Хозяйке кричали, чтоб она чего-то дала по требованию, и хозяйка соглашалась. Макар, чтобы проверить, чего здесь дают, тоже сказал:

– Хозяйка, дай и мне что-нибудь по требованию!

Хозяйка дернула веревку, и трамвай скоро окоротился на месте.

– Вылазь, – тебе по требованию, – сказали граждане Макару и вытолкнули его своим напором.

Макар вышел на воздух.

Воздух был столичный: пахло возбужденным газом машин и чугунной пылью трамвайных тормозов.

– А где же тут самый центр государства? – спросил Макар нечаянного человека.

Человек показал рукой и бросил папироску в уличное помойное ведро. Макар подошел к ведру и тоже плюнул туда, чтобы иметь право всем в городе пользоваться.

Дома стояли настолько грузные и высокие, что Макар пожалел советскую власть: трудно ей держать в целости такую жилищную снасть.

На перекрестке милиционер поднял торцом вверх красную палку, а из левой руки сделал кулак для подводчика, везшего ржаную муку.

"Ржаную муку здесь не уважают, – заключил в уме Макар: здесь белыми жамками кормятся".

– Где здесь есть центр? – спросил Макар у милиционера.

Милиционер показал Макару под гору и сообщил:

– У Большого театра, в логу.

Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого – дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела.

Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству. Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку неимоверного дома.

– Что здесь строят? – спросил он у прохожего.

– Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла! – ответил прохожий.

Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать.

В воротах стояла стража. Стражник спросил:

– Тебе чего, жлоб?

– Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отощал, – заявил Макар.

– Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты пришел без всякого талона? – грустно проговорил стражник.

Здесь подошел каменщик и заслушался Макара.

– Иди в наш барак к общему котлу, – там ребята тебя покормят, – помог Макару каменщик. – А поступить ты к нам сразу не можешь, ты живешь на воле, а, стало быть – никто. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти.

И Макар пошел в барак кушать из котла, чтобы поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы.

На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужился. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно, земля всюду была поражена ямами, народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется, – он интересовался техникой как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу – товарищ Лев Чумовой, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой, но у Макара были только грамотные руки, а голова – нет; поэтому он только и думал, как бы чего сделать.

Макар обошел всю постройку и увидел, что работа идет быстро и благополучно. Однако что-то заунывно томилось в Макаре – пока неизвестно что. Он вышел на середину работ и окинул общую картину труда своим взглядом: явно чего-то недоставало на постройке, что-то было утрачено, но что – неизвестно. Только в груди у Макара росла какая-то совестливая рабочая тоска. От печали и от того, что сытно покушал, Макар нашел тихое место и там отошел ко сну. Во сне Макар видел озеро, птиц, забытую

сельскую рощу, а что нужно, чего не хватает на постройке, — того Макар не увидел. Тогда Макар проснулся и вдруг открыл недостаток постройки: рабочие запаковывали бетон в железные каркасы, чтобы получилась стена. Но это же не техника, а черная работа! Чтобы получилась техника, надо бетон наверх трубами, а рабочий будет только держать трубу и неуставать, этим самым не позволяя переходить красной силе ума в чернорабочие руки.

Макар сейчас же пошел искать главную московскую изучно-техническую контору. Такая контора помещалась в прочном несгораемом помещении, в одном городском овраге. Макар нашел там одного малого у дверей и сказал ему, что изобрел строительную кишку. Малый его выслушал и даже расспросил о том, чего Макар сам не знал, и потом отправил Макара на лестницу к главному писцу. Писец этот был ученым инженером, однако он решил почему-то писать на бумаге, не касаясь руками строительного дела. Макар и ему рассказал про кишку.

— Дома надо не строить, а отливать, — сказал Макар ученому писцу.

Писец прослушал и заключил:

— А чем вы докажете, товарищ изобретатель, ваша кишка дешевле обычной бетонировки?

— А тем, что я это ясно чувствую, — доказал Макар.

Писец подумал что-то в тайне и послал Макара в конец коридора:

— Там дают неимущим изобретателям по рублю на харчи и обратный билет по железной дороге.

Макар получил рубль, но отказался от билета, так как он решил жить вперед и безвозвратно.

В другой комнате Макару дали бумагу в профсоюз, дабы он получил там усиленную поддержку как человек из массы и изобретатель кишки. Макар подумал, что в профсоюзе ему сегодня же должны дать денег на устройство кишки, и радостно пошел туда.

Профсоюз помещался еще в более громадном доме, чем техническая контора. Часа два бродил Макар по ущельям того профсоюзного дома в поисках начальника массовых людей, что был написан на бумаге, но начальника не оказалось на служебном месте, — он где-то заботился о прочих трудящихся. В сумерки начальник пришел, съел яичницу и прочитал бумажку Макара через посредство своей помощницы — довольно миловидной и передовой девицы с большой косой. Девица та сходила в кассу и принесла Макару новый рубль, а Макар расписался в получении его как безработный батрак. Бумагу Макару отдали обратно.

На ней в числе прочих букв теперь значилось: "Товарищ Лопин, помоги члену нашего союза устроить его изобретение кишки по промышленной линии".

Макар остался доволен и на другой день пошел искать промышленную линию, чтобы увидеть на ней товарища Лопина. Ни милиционер, ни прохожие не знали такой линии, и Макар решил ее найти самостоятельно. На улицах висели плакаты и красный сатин с надписью того учреждения, которое и нужно было Макару. На плакатах ясно указывалось, что весь пролетариат должен твердо стоять на линии развития промышленности. Это сразу вразумило Макара: нужно сначала отыскать пролетариат, а под ним будет линия и где-нибудь рядом товарищ Лопин.

– Товарищ милиционер, – обратился Макар: укажи мне дорогу на пролетариат.

Милиционер достал книжку, отыскал там адрес пролетариата и сказал тот адрес благодарному Макару.

Макар шел по Москве к пролетариату и удивлялся силе города, бегущей в автобусах, в трамваях и на живых ногах толпы.

"Много харчей надо, чтобы питать такое телодвижение!", – рассуждал Макар в своей голове, умевшей думать, когда руки были не заняты.

Озабоченный и загоревавший Макар, наконец, достиг того дома, местоположение которого ему указал постовой. Дом тот оказался ночлежным приютом, где бедный класс в ночное время преклонял свою голову. Раньше, в дореволюционную бытность, бедный класс преклонял свою голову на простую землю, и над той головой шли дожди, светил месяц, брели звезды, дули ветры, а голова та лежала, стыла и спала, потому что она была усталая. Нынче же голова бедного класса отдыхала на подушке под потолком и железным покровом крыши, а ночной ветер природы уже не беспокоил волос на голове бедняка, некогда лежавшего прямо на поверхности земного шара.

Макар увидел несколько чистоплотных домов и остался доволен советской властью.

"Ничего себе властишка! – оценил Макар. – Только надо, чтобы она не взбаловалась, потому что она наша!"

В ночлежном доме была контора, как во всех московских жилых домах. Без конторы, оказывается, сейчас же началось бы всюду светопреставление, а писцы давали всей жизни хотя и медленный, но правильный ход. Макар и писцов уважал.

"Пусть живут! – решил про них Макар. – Они же думают чего-нибудь, раз жалование получают, а раз они о должности

думают, то, наверное, станут умными людьми, а их нам и надобно!"

– Тебе чего? – спросил Макара комендант ночлега.

– Мне бы нужен был пролетариат, – сообщил Макар.

– Какой слой? – узнавал комендант.

Макар не стал задумываться, – он знал вперед, что ему нужно.

– Нижний, – сказал Макар. – Он погуще, там людей побольше, там самая масса!

– Ага! – понял комендант. – Тогда тебе надо вечера ждать: кого больше придет, с теми и ночевать пойдешь: либо с нищими, либо с сезонниками...

– Мне бы с теми, кто самый социализм строит, – попросил Макар.

– Ага! – снова понял комендант. – Так тебе нужен, кто новые дома строит?

Макар здесь усомнился.

– Так дома же и раньше строили, когда Ленина не было. Какой же тебе социализм в пустом доме?

Комендант тоже задумался, тем более, что он сам точно не знал, в каком виде должен представиться социализм, – будет ли в социализме удивительная радость и какая?

– Дома-то строили раньше, – согласился комендант. – Только тогда жили негодяи, а теперь я тебе талон даю на ночевку в новый дом.

– Верно, – обрадовался Макар. – Значит, ты правильный помощник советской власти.

Макар взял талон и сел на груду кирпича, оставшегося беспризорным от постройки.

"Тоже... – рассуждал Макар: – лежит кирпич подо мной, а пролетариат тот кирпич делал и мучался: мала советская власть – своего имущества не видит!".

Досидел Макар на кирпиче до вечера и проследил, поочередно, как солнце угасло, как огни зажглись; как воробьи исчезли с навоза на покой.

Стали, наконец, являться пролетарии... кто с хлебом, кто без него, кто больной, кто уставший, но все миловидные от долгого труда и добрые той добротой, которая происходит от измождения.

Макар подождал, пока пролетариат разлегся на государственных койках и перевел дыхание от дневного строительства. Тогда Макар смело вошел в ночлежную залу и объявил, став посреди пола:

– Товарищи работники труда! Вы живете в родном городе Москве, центральной силе государства, а в нем непорядки и утраты ценностей...

Пролетариат пошевелился на койках.

– Митрий! – глухо произнес чей-то широкий голос. – Двинь его слегка, чтобы он стал нормальным...

Макар не обиделся, потому что перед ним лежал пролетариат, а не враждебная сила.

– У вас не все выдумали, – говорил Макар. – Молочные банки из-под молока на ценных машинах везут, а они порожние, – их выпили. Тут бы трубы достаточно было и поршневого насоса... Тоже и в строительстве домов и сараев, – их надо из кишки отливать, а вы их по мелочам строите... Я ту кишку придумал и вам ее даром даю, чтобы социализм и прочее благоустройство наступило скорее...

– Какую кишку? – произнес тот же глухой голос невидимого пролетария.

– Свою кишку, – подтвердил Макар.

Пролетариат сначала помолчал, а потом чей-то ясный голос прокричал из дальнего угла некие слова, и Макар их услышал, как ветер:

– Нам сила не дорога́, – мы и по мелочи дома поставили, – нам душа дорога́. Раз ты человек, то дело не в домах, а в сердце. Мы здесь все на расчетах работаем, на охране труда живем, на профсоюзах стоим, на клубах увлекаемся, а друг на друга не обращаем внимания, – друг друга закону поручили... Даешь душу, раз ты изобретатель!

Макар сразу пал духом. Он изобретал всякие вещи, но души не касался и это оказалось для здешнего народа главным изобретением. Макар лег на государственную койку и затих от сомнения, что всю жизнь занимался не-пролетарским делом.

Спал Макар недолго, потому что он во сне начал страдать. И страдание его перешло в сновидение: он увидел во сне гору или возвышенность, и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, не видя горюющего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученнейшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что расстилалась перед ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал.

– Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? – спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал попрежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах.

Тогда Макар в удивлении пополз на высоту по мертвой

каменистой почве. Три раза в него входил страх перед неподвижным-научным и три раза страх изгонялся любопытством. Если бы Макар был умным человеком, то он не полез бы на ту высоту, но он был отсталым человеком, имея лишь любопытные руки под неощутимой головой. И силой своей любопытной глупости Макар долез до образованнейшего и тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое.

Макар проснулся от удара и увидел над собой ночлежного надзирателя, который коснулся его чайником по голове, чтобы Макар проснулся.

Макар сел на койку и увидел рябого пролетария, умывшегося из блюдца без потери капли воды. Макар удивился способу начисто умываться горстью воды и спросил рябого:

– Все ушли на работу, – чего же ты один стоишь и умываешься?

Рябой промакнул мокрое лицо в подушку, высох и ответил:

– Работающих пролетариев много, а думающих мало, – я наметил себе думать за всех. Понял ты меня или молчишь от дурости и угнетения?

– От горя и сомнения, – ответил Макар.

– Ага, тогда пойдем, стало быть, со мной и будем думать за всех, – соображая, высказался рябой.

И Макар поднялся, чтобы идти с рябым человеком, по названию Петр, чтобы найти свое назначение.

Навстречу Макару и Петру шло большое многообразие женщин, одетых в тугую одежду, указывающую, что женщины желали бы быть голыми; так же много было мужчин, но они укрывались более свободно для тела. Великие тысячи других женщин и мужчин, жалея свои туловища, ехали в автомобилях и фаэтонах; а также в еле влекущихся трамваях, которые скрежетали от живого веса людей, но терпели. Едущие и пешие стремились вперед, имея научное выражение лиц, чем в корне походили на того великого и мощного человека, которого Макар неприкосновенно созерцал во сне. От наблюдения сплошных научно-грамотных личностей Макару сделалось жутко во внутреннем чувстве. Для помощи он поглядел на Петра: не есть ли и тот лишь научный человек со взглядом вдаль?

– Ты, небось знаешь все науки и видишь слишком далеко? – робко спросил Макар.

Петр сосредоточил все свое сознание.

— Я-то? Я надуваюсь существовать вроде Ильича-Ленина. Я гляжу и вдаль, и вблизь, и вширку, и вглубь, и вверх.

— Да, то-то! — успокоился Макар. — А я-то намедни видел громадного научного человека: так в одну даль глядит, а около него — сажени две будет — лежит один отдельный человек и мучается без помощи.

— Еще бы, — умно произнес Петр. — Он на уклоне стоит, ему и кажется, что все вдалеке, а вблизи нет и дьявола! А другой только под ноги себе глядит — как бы на комок не споткнуться, и не удариться насмерть — и считать себя правым, а массам жить на тихом ходу скучно. Мы, брат, комков в почве не боимся!

— У нас народ теперь обутый! — подтвердил Макар.

Но Петр держал свое размышление, вперед, ни отлучаясь ни на что.

— Ты видел когда-нибудь коммунистическую партию?

— Нет, товарищ Петр, мне ее не показывали! Я в деревне товарища Чумового видел!

— Чумовых товарищей и здесь находится полное количество. А я говорю тебе про чистую партию, у которой четкий взор в точную точку. Когда я нахожусь на сходе среди партии, всегда себя дураком чувствую.

— Отчего ж так, товарищ Петр? Ты ведь по наружности научный.

— Потому что у меня ум тело поедает. Мне яства хочется, а партия говорит: вперед заводы построим, — без железа хлеб растет слабо. Понял ты меня, — какой здесь ход в самый раз?!

— Понял, — ответил Макар.

Кто строит машины и заводы, тех он понимал сразу, словно ученый. Макар с самого рождения наблюдал глиносоломенные деревни и нисколько не верил в их участь без огневых машин.

— Вот, — сообщил Петр. — А ты говоришь: человек тебе намедни не понравился! Он и партии и мне не нравится; его ведь дурак-капитализм произвел, а мы таковых подобных постепенно под уклон спускаем!

— Я тоже что-то чувствую, только не знаю что! — высказался Макар.

— А разве ты не знаешь — что, то следуй в жизни под моим руководством; иначе ты с тонкой линии неминуемо треснешься вниз.

Макар отвлекся взором на московский народ и подумал: "Люди здесь сытые, лица у всех чистоплотные, живут они обильно, — они поразмножаться должны, а детей незаметно".

Про это Макар сообщил Петру.

— Здесь не природа, а культура, — объяснил Петр. — Здесь люди живут семействами без размножения, тут кушают без производства труда...

— А как же? — удивился Макар.

— А так, — сообщил знающий Петр. — Иной одну мысль напишет на квитанции, — за это его с семейством целых полтора года кормят... а другой и не пишет ничего, — просто живет для назидания другим.

Ходили Макар и Петр до вечера; осмотрели Москва-реку, улицы, лавки, где продавался трикотаж, и захотели есть.

— Пойдем в милицию обедать, — сказал Петр.

Макар пошел; он сообразил, что в милиции кормят.

— Я буду говорить, а ты молчи и отчасти мучайся, — заранее предупредил Макара Петр.

В милиционном отделении сидели грабители, бездомные, люди-звери и неизвестные несчастные. А против всех сидел дежурный надзиратель и принимал народ в живой затылок. Иных он отправлял в арестный дом, иных — в больницу, иных устранял прочь обратно.

Когда ж дошла очередь до Петра и Макара, то Петр сказал:

— Товарищ начальник, я вам психа на улице поймал и за руку привел.

— Какой же он псих? — спрашивал дежурный по отделению. — Чего же он нарушил в общественном месте?

— А ничего, — открыто сказал Петр. — Он ходит и волнуется, а потом возьмет и убьет; суди его тогда. А лучшая борьба с преступностью — это предупреждение ее. Вот я и предупредил преступление.

— Резон! — согласился начальник. — Я сейчас его направлю в институт психопатов — на общее исследование...

Милиционер написал бумажку и загоревал:

— Не с кем вас препроводить, — все люди в разгоне...

— Давай я его сведу, — предложил Петр. — Я человек нормальный, это он — псих.

— Вали! — обрадовался милиционер и дал Петру бумажку.

В институт душевнобольных Петр и Макар пришли через час. Петр сказал, что он приставлен милицией к опасному дураку и не может оставить его ни на минуту, а дурак ничего не ел и сейчас начнет бушевать.

— Идите на кухню, вам там дадут покушать, — указала добрая сестра-посиделка.

— Он ест много, — отказался Петр. — Ему надо щей чугун и каши два чугуна. Пусть принесут сюда, а то он еще харкнет в общий котел.

Сестра служебно распорядилась. Макару принесли тройную порцию вкусной еды и Петр насытился заодно с Макаром.

В скором времени Макара принял доктор и начал спрашивать у Макара такие обстоятельные мысли, что Макар по невежеству своей жизни отвечал на эти докторские вопросы, как сумасшедший. Здесь доктор ощупал Макара и нашел, что в его сердце бурлит лишняя кровь.

– Надо его оставить на испытание, – заключил про Макара доктор.

И Макар с Петром остались ночевать в душевной больнице. Вечером они пошли в читательную комнату, и Петр начал читать Макару книжки Ленина вслух.

– Наши учреждения – дерьмо, – читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. – Наши законы – дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки...

Другие больные душой тоже заслушивались Ленина, – они не знали раньше, что Ленин знал все.

– Правильно! – поддакивали больные душой и рабочие и крестьяне.

– Побольше надо в наших учреждениях рабочих и крестьян, – читал дальше рябой Петр. Социализм надо строить руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений. И я не теряю надежды, что нас за это когда-нибудь поделом повесят...

– Видал? – спросил Макара Петр. – Ленина – и то могли замучить учреждения, а мы ходим и лежим. Вот она тебе вся революция, написана живьем...

– Книгу эту я отсюда украду, потому что здесь учреждение, а завтра мы с тобой пойдем в любую контору и скажем, что мы рабочие и крестьяне. Сядем с тобой в учреждении и будем думать для государства.

После чтения Макар и Петр легли спать, чтобы отдохнуть от дневных забот в безумном доме. Тем более, что завтра обоим предстояло идти бороться за ленинское и общебедняцкое дело.

Петр знал, куда надо идти, – в РКИ, там любят жалобщиков и всяких удрученных. Приоткрыв верхнюю дверь в верхнем коридоре РКИ, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат ”Кто кого?”, Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.

Макар не испугался Чумового и сказал Петру:

– Раз говорится "кто кого?", то давай мы его...

– Нет, нет, – отверг опытный Петр: – у нас государство, а не лапша. Идем выше.

Выше их приняли потому, что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.

– Мы – классовые члены, – сказал Петр высшему начальнику, – у нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой.

– Берите. Она ваша, – сказал высший и дал им власть в руки.

С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме – на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать также, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах.

Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его никто письменно не отзывал оттуда. И присутствовал он там до тех пор, пока не была назначена комиссия по делам государства. В ней тов. Чумовой проработал 44 года и умер среди забвения и канцелярских дел, в которых был помещен его золотой гос-ум.

ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ

ПОВЕСТЬ

День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и всяким другим организованным профессиональным существом, – лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.

Он управился уже на ходу открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара. Эта причина, благодаря сообразительности пешехода, заключалась в переменном астрономическом движении земного тела по опасному пространству космоса; а именно – как только, хотя бы на мгновенье, земля уравновесится среди разнообразия звездных влияний и приведет в гармонию все свое сложное колебательно-поступательное движение, так встречает незнакомое условие в кипящей вселенной, и тогда движение земли изменяется, а непогашаемая инерция разогнанной планеты приводит земное тело в содрогание, в медленную переделку всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми облаками. Такое размышление пешеход почел ничем иным как началом собственной космогонии и нашел в том свое удовлетворение.

В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте.

Пока пешеход спешил к тому поселению, наступил сумрак и в одном жилище зажгли свет.

Поселение оказалось усадьбой: вокруг большого двора стояли четыре землебитных дома и один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу землей, в которых разные животные подавали свои голоса. Около сарая бегала на рыскале и бушевала от злобы собака.

На дворе повсюду пахло теплом животной жизни, вокруг лежала смирная смутная степь, нагретая дневным солнцем, и пришедший человек почувствовал добро здешней жизни и захотел спать.

В одном окне землебитного жилища горел огонь. Прибывший подошел к окну и увидел пожилого человека, который сидел около лампы и читал через очки старинную книгу в заржавленном, железном пе-

реплете. Он медленно шептал что-то тонкими усохшими губами и тяжко вздыхал, когда переворачивал страницу, видимо, томясь своим впечатлением от чтения.

Пешеход вошел в низкую комнату и поздоровался со старым чтецом.

– Здравствуй, – не спеша ответил пожилой. – Соваться пришел?

– Нет, – сказал пришедший и спросил – что здесь такое.

– Здесь мясосовхоз нумер сто один, – сказал читавший книгу и, поглядев в страницу, прочитал оттуда какое-то очередное старое слово. – А тебе что нужно? Ты здесь, братец, со своими вопросами не суйся!

– А можно мне увидеть директора? – спросил прибывший.

– Можно, – ответил без охоты пожилой человек. – Гляди на меня – это я вот директор. А ты думал – директор здесь кто-то особенный – это же я!

Пешеход вынул бумагу и дал ее директору. В бумаге сообщалось, что в систему мясосовхозов командируется инженер-электрик сильных токов товарищ Николай Вермо, который окончил, кроме того, музтехникум по классу народных инструментов, дотоле же он был ряд лет слесарем, часовым механиком, шофером и еще кое-чем, в порядке опробования профессий, что указывало на безысходную энергию тела этого человека, а теперь мчится в действительность, заряженный природным талантом и политехническим образованием. Такова была приблизительная тема отношения, препровождавшего инженера Вермо в совхоз.

Прочитав документ, директор вдруг обрадовался и стал говорить с гостем на историческую, мировоззренческую и литературоведческую тему. Он любил все темы, кроме скотоводства, и охотно отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет впереди или на столько же назад.

Директор почувствовал теперь даже небольшое уважение к культурному служащему, ввиду того, что он не суется с мнениями, а сидит молча и слушает.

Животные давно перестали подавать голоса и задремали до рассвета в своих скотоместах. В землебитном домике, где сидели два человека, от лампы и высказанных слов стало душно, скучно, и Николай Вермо уснул на стуле против директора. Собака тоже умолкла к тому времени, не получая из степи отзвука на свою злобу, видимо, она смирилась с отсутствием врага и заснула в пустой тыкве, заменяющей ей будку. Эту тыкву совхоз вырастил год тому назад, чтобы показать ее на районной выставке как экспонат агрономического усердия. И действительно, тыква получила премию, а затем из той тыквы выбрали внутренность и сделали из нее собачью будку, поскольку кухарки совхоза отказались обрабатывать для пищи такие слишком мощные овощи.

— Ты не видел нашей тыквы? — спросил директор у Вермо; но Вермо спал. — Ты бы глянул: великое растение! Полезная площадь нашей тыквы — половина квадратной сажени. У нас на дальнем гурте целых сто штук таких выдолбленных тыкв: в них спят доярки и гуртоправы. Я целый жилкризис этими тыквами решил... Ах, ты спишь уже? Ну, спи, редкий человек, а я еще почитаю...

И директор снова углубился с интересом в старинную железную книгу, излагавшую историю Иоанна Грозного, приложив к задумавшейся, грустящей голове несколько пальцев правой руки.

Через полчаса прибывший молодой человек проснулся от неудобства и засмотрелся в лицо директора.

— Что вы такое? — спросил Вермо. — Я ведь, может быть, сумею отобразить вас в звуке: я музыке учился.

— Отобрази, — с польщением согласился директор. — Я Адриан Умрищев: я должен у тебя звучать мощно. Я ведь предполагаю попасть в вечный штатный список истории как нравственная и разумно-культурная личность переходной эпохи. Поэтому ты сочини меня как можно гуще и веди по музыке басом. Я люблю оркестры!.. Ты что думаешь, — переменил голос Умрищев, — иль мне сподручно здесь сидеть среди животных?

— А разве нет? — удивился Вермо.

— Нет, — вздохнул Умрищев. — Я здесь очутился как "невыясненный"! Как выяснюсь, так исчезну отсюда навсегда. Ты можешь или нет сочинить в виде какого-либо гула неясности?

— Могу, наверно, — пообещал Вермо, чувствуя бред жизни от своей усталости и от этого человека.

Умрищев стал высказываться, как он долгое время служил по разным постам в дальних областях Союза Советов и Союза потребительских обществ, а затем возвратился в центр. Однако в центре уже успели забыть его значение и характеристику, так что Умрищев стал как бы неясен, нечеток, персонально чужд и даже несколько опасен. К тому же новая обстановка, сложившаяся за время отсутствия того же Умрищева, образовала в системе такое соотношение сил и людей, что Умрищев очутился круглой сиротой среди этого течения новых условий. Он увидел по возвращении незнакомый мир секторов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия и сдельщины, — тогда как, уезжая, он видел мир отделов, подотделов, широкой коллегиальности, мир совещаний, планирований безвестных времен на тридцать лет вперед, мир натопленных канцелярских коридоров и учреждений такого глубокого и всестороннего продумывания вопросов, что для решения их требуется вечность, — навсегда забытую теперь старину, в которой зрел некогда оппортунизм. Втуне вздохнув, Умрищев пошел в секторную сеть своего ведомства и стал выясняться; его слушали, осматривали лицо, читали шепотом документы и спис-

ки стажа, а затем делали озадаченные, напряженные выражения в глазах и говорили : "Нам все же что-то не очень ясно, необходимо кое-что дополнительно выяснить, и тогда уже мы попытаемся вынести какое-либо более или менее определенное решение". Умрищев ответил, что он вполне ясный ответработник и все достоверные документы при нем налицо. "Все же достаточно ясности о вас – для нас пока не существует, будем пробовать пытаться выяснить ваше состояние", – отвечало Умрищеву учреждение. Таким способом Умрищев был как бы демобилизован из действующего состава советского аппарата и попал в специальный состав невыясненных. В том учреждении, которое заведывало Умрищевым, невыясненных людей скопилось уже целых четыреста единиц, и все они были зачислены в резерв, приведены в боевую готовность и поставлены на приличные оклады. Раза два-три в месяц невыясненные приходили в учреждение, получали оклады и спрашивали: "Ну, как, я не выяснен еще?"–"Нет, – отвечали им выясненные, – все еще пока что нет о вас достаточных данных, чтобы дать вам какое-либо назначение, – будем пробовать выяснить! "Выслушав, невыясненные уходили на волю, посещали пивные, пели песни и бушевали свободными отдохнувшими силами; затем они, собранные из разнообразных городов республики и даже из заграничной службы, шли в гости друг к другу, читали стихотворения, провозглашали лозунги, запевали любимые романсы, – и Умрищев, вспомнив сейчас то невозвратное время невыясненности, спел во весь голос романс в тишине мясного совхоза:

В жизни все неверно и капризно,
Дни бегут, никто их не вернет.
Нынче праздник – завтра будет тризна,
Незаметно старость подойдет.

Когда-то невыясненные громадным хором пели этот романс в буднее время и вытирали глаза от слез и тоски бездеятельности. Именно этот романс они сердечно любили и гремели его во все голоса где-нибудь среди рабочего дня. После сборища невыясненные ночевали и принимали любовниц, – один невыясненный успел уже настолько влюбиться в какую-то сотрудницу, что от ревности ранил ее после занятий чернильницей месткома. Кроме того, невыясненные звонили по казенным телефонам между собой, играли в шашки с ночными сторожами, читали от скорби архивы и писали письма родственникам на бланках отношений. По ночам невыясненные падали со столов, потому что видели страшные сны, а утром одевались поскорее до прихода служащих, выметали мусор и шли в буфет есть первые бутерброды. Когда же бывало вовсе ободняется, невыясненные шли в секторы кадров, к которым они были приписаны, и спрашивали замедленными голосами, уже боясь втайне, что их наконец выяснили и предпишут назначение:

"Ну, как?"–"Да пока еще никак,– отвечает бывало сектор, – вот у вас есть в деле справочка, что вы один месяц болели – надо выяснить, нет ли тут чего более серьезного, чем болезнь". Невыясненный уходил прочь и, чтобы прожить поскорее служебное время, когда его ночлежное учреждение заселено штатами, заходил во все уборные и не спешил оставлять их; выйдя же оттуда, читал сплошь попутные стенгазеты, придумывал свои мнения по затронутым вопросам, а иногда давал даже свою собственную заметку о каком-либо замеченном непорядке как единичном явлении. Некоторые невыясненные состояли в своем положении по году; таким говорили, что вот уже скоро они поедут на работу: осталось только выяснить, – почему они не сигнализировали своевременно о какой-либо опасности отставания, когда еще были в прошлом на постах, или – почему ниоткуда не видно, что он не подвергался каким-либо местным взысканиям по соответствующим линиям, – нет ли здесь скрытых признаков кумовства: именно в том, что послужной список слишком непорочный. Невыясненный начинал уже серьезно и, главное, тоскливо сознавать, что он ведь действительно смутный, невыясненный и определенно пагубный человек: что-то в нем есть такое скрытое и вредное, объективно очевидное, а лично неизвестное. Он шел тогда с горя в бухгалтерию доказывать, что два месяца не пользовался выходными днями и, получив за них содержание, направлялся к друзьям и товарищам – пить пиво и петь романсы среди дня. Один из невыясненных уже настолько полюбил свою волю и безответственность, что когда его действительно куда-то назначили – сурово отказался. Он тихо сообщил про свою глубоко скрытую болезнь, которую он даже сам не чувствует, но которая, однако, в нем находится. Ему ответили, что скрывание болезни есть та же симуляция, а за симуляцию – суд; и этот невыясненный как бы сошел впоследствии немного с ума.

Сам Умрищев опростался от невыясненности лишь случайно: он вышел однажды в скучный день из учреждения и заметил, что некий человек звал взмахом руки машину. Машина к нему подъехала, и человек сел в нее для поездки."Слушай, –сказал тогда Умрищев, – подбрось-ка и меня куда-нибудь".–"Почему?"– озадачился из машины человек. "Потому что я член союза и ты член: мы же товарищи!" Человек в автомобиле вначале задумался, а потом сказал:"Садись"; в дороге же он задумался еще более, точно вспомнил нечто простое и влекущее, как печной дым над теплым колхозом зимой.

Незнакомый человек привез Умрищева к себе в гости: жена-комсомолка дала обоим прибывшим обед и чай, а затем муж-начальник выслушал на полный желудок и сонную голову беду Умрищева. Жена при этом начала кустарно точить мужа, что он есть худший вид оппортуниста, что он потворщик рвачества и заражен гнилым либерализмом, – если так будет продолжаться, она не может с ним жить. Муж

поник от чувствительного стыда, потому что в словах жены была существенная правда, а наутро он дал Умрищеву назначение в мясосовхоз, чтобы человек довыяснился на практической работе. Заодно муж комсомолки разверстал весь резерв невыясненных и предал суду десять служащих своего ведомства, дабы они имели случай опомниться от своих делов. Вечером же, доложившись жене, муж получил от последней тот ударный поцелуй, который он всегда предпочитал иметь.

Чем больше объяснял Умрищев свое течение жизни, тем грустнее становился Вермо; даже изо рта старика, благодаря его уставшему дыханию, выходила скука старости и сомнения. Светлые глаза Вермо, темневшие от счастья и бледневшие от печали, сейчас стали видными насквозь и пустыми, как несуществующие. Прибывший пешеход участвовал в пролетарском воодушевлении жизни и вместе с лучшими друзьями скапливал, посредством творчества и строительства, вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории. Он уже имел, как миллионы прочих, предчувствие всеобщего будущего, предчувствие, наполнявшее его сердце избыточной силой, – он мог чувствовать даже мертвое, даже основную причину землетрясения и вулканических сил, но вот сидел перед ним старый человек, который не производил на него никакого ощущения, точно живший ранее начала летоисчисления. Быть может, поэтому Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни – ведь все враги сейчас сознательны – и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова.

Ночь, теряя свой смысл, заканчивалась; за окном землебитного жилища уже начал прозябать день, и небо покрылось бледностью рассвета: сырая и изможденная, всюду лежала еще ничем не выдающаяся земля, и лишь кое-где на ней стала шевелиться и вскрикивать разнохарактерная живность.

Вермо сидел неподвижно: он видел раннюю бледность мира в окне и слушал начинающееся смятение жизни. Однако это не был тот напев будущего, в который он беспрерывно и тщетно вникал, – это был обычный вековой шум, счастливый на заре, но равнодушный и безотрадный впоследствии.

Умрищев, потеряв интерес к гостю, снова приступил к своему медленному чтению старины, иногда улыбаясь какой-нибудь ветхой шутке, а иногда вытирая слезы сочувственной печали, тем более что он встретил описание того грустного факта, как однажды, при воцарении Грозного, с неба пошел каменный и мелкозернистый дождь, отчего немало случилось повреждения тогдашнему историческому населению.

– Вот были люди и происшествия, – сказал Умрищев, утешаясь книгой; и стал читать вслух: "Царь Иван захотел однажды на святки,

имея доброе самочувствие, установить в Китай-городе баловство пищей. Для чего он указал боярину Щекотову привесть откуда ни есть в тот Китай-город до 70 сбитеньщиков, 45 харчевников, 30 крупенников, 14 обжарщиков и прочую пищевую силу по одному либо по два человека на каждую сортовую еду. Но люди торговые и промысловые откупились от той милости, дабы не соваться в неиспытанное, а сговорились меж собой есть до смерти добрые домашние щи, либо тюрю". – Умрищев здесь отринулся от чтения и довольно улыбнулся:

– Да у нас в один районный центр требуется больше пищевиков, чем во весь Китай-город: минималисты были, черти – одну тюрю любили!

Николай Вермо уже давно соскучился с этим неясным человеком и встал, чтобы уйти прочь, тем более что на дворе уже разгорался новый день, а здесь горела лампа.

– Ну, я пойду, – стеснительно сказал Вермо. – До свиданья.

– Ступай и не суйся, – ответил директор. – Чем старина сама себя пережила: она не совалась!.. Ступай, а то мне тоже вскоре надо поехать кой-куда: окоротить сующихся...

После ухода инженера Умрищев взял из-под стола следующую книгу и заинтересовался ею. Это была "Торговля пенькою в Шацкой провинции – в 17 веке". Он и пеньку любил, и шерсть, и пшено, и быт мещерских и мордовских племен в моршанском краю, и черное дерево в речных глубинах, и томленье старинных девушек перед свадьбой, – все это полностью озадачивало и волновало душу Умрищева; он старался постигнуть тайну и скуку исторического времени, все более доказывал самому себе, что вековечные страсти-страдания происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и повсюду неустанно суются, нарушая размеры спокойствия.

* * *

Вермо вышел на солнце и не спеша отправился через центральную усадьбу на дальние гурты. Босые доярки уже несли ведра с молоком, шагая по земле толстыми ногами; на пороге ночлежной горницы сидел пожилой пастух, – он ел что-то из чашки на коленях и посматривал на доярок, на незнакомого человека и на отдаленные пастбища, где ему придется пробыть весь день и много воображать, вследствие того, что пастуху на целине мало работы и все время думается разное в голову.

Вместе с Вермо из совхоза вышла молодая женщина и пошла с ним нечаянно рядом. Она была немного привлекательна, но, видимо, проста и доверчива, так как шла и рассматривала человека объективно, как вещь, еще не чувствуя к нему ни вражды, ни любезности. А Вермо уже стеснялся ее, как человек, у которого сердце всегда жи-

вет под напором скопившейся любви и который, не испытав еще, быть может, женщины, уже боится исчезнуть в неизвестном направлении собственной страсти, невнимательно храня себя для высшей цели. Но втайне, стесненным сердцем, Николай Вермо мог любить людей сразу, потому что тело его было уже заранее переполнено безысходной жизнью. Он осмотрел в последний раз женщину – она была действительно сейчас добра и хороша: черные волосы, созревшие в жаркой степи, покрывали ее голову и приближались к глазам, блестевшим уверенным светом своего чувства существования; ее скромный рот, немного открытый (от внимания к постороннему), показывал прочные зубы, которые потемнели без порошка, и грудь дышала просторно и терпеливо, готовая кормить детей, прижать их к себе и любить, чтобы они выросли. Вермо возмужал от волнения, его стеснительность прошла, и он сказал женщине хриплым, не своим голосом:

– Как скучно бывает жить на свете!

– Отчего скучно? – произнесла женщина, – нам тоже еще не весело, но уже не скучно давно...

Инженер остановился; спутница его также дальше не пошла, и он снова неподвижно рассматривал ее – уже всю, потому что и туловище человека содержит его сущность. Глаза этой женщины были сейчас ясны и осторожны: безлюдье лежало позади ее тела, – светлый пустой мир, все качество которого хранилось теперь в этом небольшом человеке с черными волосами. Женщина молча стояла перед своим дорожным товарищем, не понимая или из хитрости.

– Скучно оттого, что не сбываются наши чувства, – глухо проговорил Вермо в громадном и солнечном пространстве, покрытом дымом пастушьих костров. – Смотришь на какое-нибудь лицо, даже неизвестное, и думаешь: товарищ, дай я тебя поцелую. Но он отвернется, – не кончилась, говорит, классовая борьба – кулак мешает коснуться нашим устам...

– Но он не отвернется, – ответила женщина.

– Вы, например, – спросил Вермо.

– Я, например, – сказала женщина из совхоза.

Вермо обнял ее и долго держал при себе, ощущая теплоту, слушая шум работающего тела и подтверждая самому себе, что мир его воображения похож на действительность и горе жизни ничтожно. Тщательно все сознавая, Вермо близко поглядел в лицо женщины. Она закрыла глаза, и он поцеловал ее в рот. Затем Вермо убедился еще раз в истинности своего состояния и, сжав слегка человека, уже хотел отойти в сторону, сохраняя приобретенное счастье, но здесь женщина сама поддержала его и вторично поцеловала.

– Суешься уже? – сказал огорченный и забытый голос со стороны.

Пока двое людей глядели только друг на друга, подъехал верхом

третий человек – Умрищев и загодя засмеялся такому явлению поцелуя в степи.

– Она мне очень понравилась! – ответил Вермо; и ему опять стало скучно от лица Умрищева.

– Ну и пускай понравилась, а ты не суйся! – посоветовал Умрищев. – Тебе нравится, а ты в сторонку отойди, – так твое же добро целей-то будет: ты подумай...

– Проезжай, Умрищев, – сказала женщина. – На гурте доярка удавилась: я с тобой считаться иду!

– Ну-ну, приходи, – охотно согласился Умрищев. – И – только в женскую психиатрию я соваться не буду.

– Я тебя сама туда всуну, – обратно не вылезешь, – сказала женщина обещающим голосом.

– Не сунусь, женщина! – ответил Умрищев. – Пять лет в партии без заметки просостоял – оттого, что не совался в инородные дела и чуждые размышления, – еще двадцать просостою – до самого коммунизма без одной родинки проживу: успокойся, Босталоева Надежда!

Умрищев тут же уехал, а женщина, Надежда Босталоева, еще постояла, думая уже не о своем ближайшем товарище, а о мертвой доярке, но глаза ее были все такими же, как и во время дружбы с Вермо.

По дороге до гурта инженер узнал, что его попутная подруга работает секретарем гуртовой партячейки и ей здесь тяжело, иногда мучительно, зачастую страшно, но она не может сейчас жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного счастья.

Босталоева шла впервые на этот гурт; до того она работала на другом гурте, но теперь здесь стало слишком тяжело и сложно, – прежний секретарь на здешнем гурте пал духом, и комитет партии послал сюда – в "Родительские дворики" – Надежду Босталоеву, чтобы разбить и довести до гробовой доски действующего классового врага.

* * *

Гурт "Родительские дворики" находился в русле древней речки, высохшей лет тысячу тому назад. Два землебитных жилища составляли убежище гуртовщиков на зимнее время, а для укрытия от летнего ненастья лежали по окрестностям степи громадные выдолбленные тыквы.

Судя по ландашфту, насколько хватало зрения, гуртовая база была расположена разумно и удобно: ровно и спокойно лежала земля на десятки видимых верст, как уснувшая навеки, беззащитная и открытая зимнему холоду и всем безлюдным ветрам; лишь по одному месту та земля имела впалое положение, и там было слабое затишье от вихрей непогоды, – это и был след, прорытый древней и бедной рекой, теперь задутой суховеями, погребенной наносами до последнего ослабевшего источника, умолкшей навсегда. Но памятники реки, в виде песчаных выносов, еще лежали на гуртовой усадьбе, и для их зарошения в песок были посажены прутья шелюги и чернотала, а между теми прутьями и самородными лопухами лежали ночлежные пустые тыквы великого размера.

Те "Родительские дворики" имели списочное число коров – четыре тысячи: не считая быков, лошадей, волов и разной мелкой подспорной живности, в форме кроликов, овец, кур и прочих существ. Стало быть, сам тот гурт составлял из себя уже мощный мясосовхоз и являлся надежным источником мясной пищи для пролетариата.

Когда Вермо и Босталоева только пришли на гурт, Умрищев там уже господствовал и проверял все элементы хозяйства, какие попадались ему навстречу. По сторонам Умрищева ходили два человека – заведующий гуртом зоотехник Високовский и старший гуртоправ Афанасий Божев.

– Вы должны вести себя, как две мои частности, – говорил им Умрищев на ходу, – и бездирективно никуда не соваться.

– Нам это, Адриан Филиппович, понятно: обстановочка ведь суетливая! – охотно и даже счастливо отвечал Божев, а сам улыбался своим чистым и честным лицом, на котором приятно находились два благожелательных глаза степного светлого цвета.

Високовский молчал. Он любил скотину саму по себе и давно собирался уйти работать в область племенного животноводства, дабы воспитывать скот для рождения потомства, а не для убийства; он был худой по телу, может быть потому, что больше ел молоко, прудовую рыбу, кашу и редко брал говядину, и знал свою науку с угрюмой точностью – видел в любом животном не только вес и продуктивность, но одновременно и субъективное настроение. За это его любили в скотоводческом объединении и платили ему большие средства, которые он, не имея родных, тратил на баловство любимой скотины; например, он приобретал шерстяной материал и сам шил чулки на зиму для кроликов, угощал быков солеными пышками, построил стеклянную теплицу печного отопления – с тем, чтобы там росла зимой свежая кормовая трава для мужающих телят, которым уже надоело молоко, – и еще многое другое совершил Високовский ради любви своей к делу.

Меж тем Умрищев совершал свои замечания по гурту. Войдя в пекарню, он отпробовал хлеба и сказал ближним подчиненным: "печь более вкусный хлеб". Все согласились. Выйдя наружу, он вдруг задумался и указал Високовскому и Божеву: "серьезно продумать все формы и недостатки". Божев сейчас же записал эти слова в свою книжку. Увидя какого-то человека, тихо шедшего стороною, Умрищев произнес: "усилить трудовую дисциплину". Здесь что-то помешало Умрищеву идти дальше: он стал на месте и показал в землю: "сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает сосредоточиться". Божев наклонился было, чтобы сразу уничтожить былинку, но Умрищев остановил его: "ты сразу в дело не суйся, – ты сначала запиши его, а потом изучи: я же говорю принципиально – не только про эту былинку, а вообще, про все былинки в мире". Божев спешно записал, а Високовский шел рядом, ничего не говоря и не делая. Вскоре

на тропинку выбежал кролик и от внезапного ужаса не мог бежать, а стал на задние ноги, обратив лицо прямо к людям.

– Хорошее животное! – оценил Умрищев кролика.

– Да, оно ничего: оно милое, Адриан Филиппович! – согласился Божев.

Невдалеке показалась свинья; она подошла к Умрищеву и покрутила около него хвостом, что также понравилось Умрищеву, и он одобрил это животное.

Но зато придя в служебный кабинет Височковского, Умрищев сразу почувствовал ярость. В самом деле, – в кабинете было кругом нечисто, имелись следы и остатки каких-то огромных животных, точно сюда приходили по делам быки, пригибаясь в дверях; бумаги лежали под бутылками с мочей больных коров, стены не имели убранства и были покрыты разными итоговыми данными, и на стуле у стола сидел, как посетитель, подсвинок.

– Это ж государственная измена! – воскликнул Умрищев в кабинете. – Вы весь авторитет нашего руководства роняете вниз! – закричал он по направлению к Височковскому. – Вас скотина здесь не уважает, а вы целым штатом хотите руководить! За такие кабинеты надо вон с отметкой увольнять!

– Тише, начальник, – попросил Височковский, – говорите негромко: я вас услышу все равно.

– Вас бы надо гидрометеором по голове, – потише сказал Умрищев, – чтоб вы почувствовали что-то.

– Гидрометеор – это дождь, товарищ Умрищев, – равнодушно заявил Височковский.

– Я имею в виду тот дождь, – объяснил Умрищев, – который шел при Иоанне Грозном, – каменный, исторический дождь!

Вслед за тем Умрищев велел Божеву позвать гуртового кузнеца Кемаля, убогого глухонемого счетовода Тишкина, профуполномоченного, старушку Федератовну, а заодно и Босталоеву с явившимся зачем-то инженер-музыкантом. Умрищев любил иногда собрать, как родню, подчиненный аппарат в кучу и поговорить с ним по душам, не составляя повестки дня.

* * *

Босталоева вошла в свое новое жилище, а Вермо остановился у входа. Это было временное общежитие, построенное из земли и покрытое для крепости дерном.

На правой половине земляной горницы лежали во сне усталые доярки и телятницы, а налево храпели пастухи, водоносы, колодезники, случники, студенты-ветеринары и прочие профессии: некоторые же сидели на земляном полу и писали письма далеким товарищам или читали книги, чертили изображения и думали, облокотившись на руку.

Тут же в сенях общежития, на большом столе для кружковых занятий лежал мертвый человек. Он был покрыт красным сукном, но одна небольшая старая женщина приоткрыла сукно у изголовья мертвеца и гладила свободной рукой чье-то остывшее лицо.

– Это Айна? – спросила Босталоева у той устарелой женщины.

– Да – то кто же! – раздражительно ответила бочонковидная старушка и обернулась своим лицом, похожим на блюдцеобразное озеро.

Вермо подошел со стороны и загляделся на покойницу. Смуглая девушка, наверно, киргизка, лежала навзничь с постаревшим грустным лицом и открыла рот от последней слабости. Босталоева приподняла покрывало на покойнице и стала ощупывать своей рукой тело Айны, будто разыскивая следы смерти и тайное место гибели человека. Инженер так же близко наклонился над скончавшейся; он увидел опухшее от женственности тело, уже копившее запасы для будущего материнства, и терпеливые рабочие руки, без силы сложенные на животе; Вермо разглядел полотно рубашки, которое повсеместно выдавали ударницам, и почувствовал запах еще сохранившегося пота и прочих отходов уже умолкшей, трудной жизни; но смерти нигде не было заметно.

Тогда Босталоева отвернула ворот на горле Айны, и все увидели темный запекшийся рубец вокруг шеи, – след от бичевы, которая перерезала гортань и сожгла дыхание этой девушки.

Здесь пришел Афанасий Божев и позвал Босталоеву с инженером на совещание.

– Ведь миллиарды разных людей умерли бесполезно, – сказал Божев, – что же вы одну-то стоите жалеете! Мало ли на свете жителей осталось!.. Жалейте хоть меня, если в вас гнилой либерализм бушует!

– Всех жалеть не нужно, – заявила старушка, бывшая тут, – многих нужно убить...

Сказав это, пожилая рабочая отвернула от горя свое лицо, и все промолчали, не понимая значения ее речи, а потом ушли на гуртовое совещание.

Когда Божев привел Босталоеву и Вермо, Умрищев уже давно говорил, сам не понимая о чем, а только чувствуя что-то доброе. Он развивал перед присутствующими различные картины мероприятий, например, – предполагал так организовать все гуртовые работы, чтобы каждый уже молчал постоянно, делал по раз запущенному порядку свое узкое, мирное дело и ни во что не совался.

– Каждому трудящемуся надо дать в его собственность небольшое царство труда – пусть он копается в нем непрерывно и будет вечно счастлив, – развивал Умрищев вслух свое воображение. – Один, например, чистит скотоместа, другой чинит по степи срубовые колодцы, третий пробует просто молоко – какое скисло, какое нет, – каждый делает планово свое дело, и некуда ему больше соваться. Я считаю,

что такая установка даст возможность опомниться мне и всему руководящему персоналу от текущих дел, которые перестанут к тому времени течь. Пора, товарищи, социализм сделать не суетой, а заботой миллионов.

Собрание молчало; старушка Федератовна уже загорюнилась, облокотившись на коричневую руку; она знала, что ей думать, и глядела на Умрищева, как на подлого.

– Что здесь такое? – спросила Босталоева. – Что мы обсуждаем и какая повестка дня?

– Я ничего не понимаю, – со сдержанной враждебностью объяснил Височковский. – Обратитесь к товарищу директору: он должен знать.

Височковский, презирая Умрищева, начинал распространять свое холодное чувство уже гораздо шире. Может быть, на весь руководящий персонал советского скотоводства. Босталоева это поняла.

– А теперь слушайте меня дальше, – говорил Умрищев. – Есть еще разные неопределенные вопросы, изученные мною по старинной и по советской печати. У грабарей дети рождаются весной, у вальщиков – среди лета, у гуртоправов – к осени, у шоферов – зимой, монтажницы отделываются к марту месяцу, а доярки в марте только починают: поздно-поздно, голубушки, починаете, – летом носить ведь жарко будет!...

– Да что ты скучаешь-то все, батюшка: то жарко, то тяжко, – осерчала старушка, – да мы вытерпим!

Умрищев только теперь обратил свой взгляд на ту старушку, и вдруг все его задумчивое лицо сделалось ласковым и снисходительным.

– Стару-у-шка! – сказал он с глубоким сочувствием.

– Старичок! – настолько же ласково произнесла старушка.

– Ты что ж – существуешь?

– А что ж мне больше делать-то, батюшка? – подробно говорила старушка. – Привыкла, и живу себе.

– А тебе ничего, не странно жить-то?

– Да мне ничего... Я только интервенции боюсь, а больше ничего. Бессоница еще мучает меня – по всей республике громовень, стуковень идет, разве тут уснешь!

Здесь Умрищев даже удивился:

– Интервенция?! А ты знаешь это понятие? Что ты во все слова суешься?..

– Знаю, батюшка. Я все знаю – я культурная старушка.

– Ты, наверно, Кузьминишна?!– догадывался Умрищев.

– Нет, батюшка, – ответила старушка, – я Федератовна. Кузьминишной я уже была.

— Так ты, может, формально только культурной стала? — несколько сомневался Умрищев.

— Нет, батюшка, я по совести, — ответила Федератовна.

Умрищев встал на ноги и сердечно растрогался.

— Дай я тебя поцелую!

— Нежная моя, научная старушка! — говорил Умрищев, целуя Федератовну несколько раз. — Никуда ты не совалась, дожила до старости лет и стала ты, как боец против всех стихий природы!

— И против классового врага, батюшка! — поправила Федератовна. — Против тебя, против Божева Афанаса и против еще каких-нибудь, кто появится... Я ведь все кругом вижу, я во все суюсь, я всем здесь мешаю!..

— Говори, бабушка, — обрадованно попросила Босталоева. — У нас повестки дня нету, а ты факты знаешь!

— Да то, ништ, я фактов не знаю! — медлила Федератовна. — Я всю республику люблю, я день и ночь хожу и щупаю, где что есть и где чего нету... Да без меня б тут давно мужики-единоличники всех коров своих гнусных на наших обменяли, и не узнал бы никто, а кто и проведал бы, так молчал уж: ей ему жалко нашу федеративную республику!? Ему себя жалко!

Босталоева в тот час глядела на Николая Вермо; инженер все более бледнел и хмурился — он боролся со своим отчаянием, что жизнь скучна и люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время. Когда начал говорить Божев, — задушевно, с открытым и правдивым лицом и с милыми глазами, светящимися пролетарской ясностью, — Вермо заслушался одних звуков его голоса и был доволен, но потом, когда почувствовал весь смысл хитрости Божева, то отвернулся и заплакал. Федератовна, бывшая близко, подошла к инженеру и вытерла ему глаза своей сухой ладонью.

— Будет тебе, — сказала старушка, — иль уж капитализм наступает: душа с советской властью расстается. Мы их кокнем: высохни глазами-то.

Собрание сидело в озадаченном виде. Одна Босталоева улыбнулась и захотела узнать, в чем Умрищев и Божев каются: ведь обвинение их бабушкой Федератовной голословно, она, может быть, недовольна не классовыми фактами, а лишь старостью своих лет.

Божев в молчаливом обозлении сжал зубы во рту: он сразу понял, какую мучительную ошибку он совершил, испугавшись обвинения старухи из ее щербатого рта — ведь действительности никто здесь не знает. Умрищев же думал безмолвно для самого себя: "Всю жизнь учился не соваться, в тут вот сунулся с покаянием — пропал! Ну кто тебе директору соваться дал — скажи, пожалуйста: кто? Жил бы себе молча и убого, как остальные два миллиарда живут!"

Божев, засмеявшись, предложил всем перейти к текущим делам, поскольку бабушка Федератовна отлично понимает, что единственным желанием его и Умрищева было доставить удовольствие заслуженной совхозной бабушке и, стало быть, не прекословить ей. Это же явно, — это ведь было предпринято ради уважения к трудовому стажу Федератовны, но вовсе не ради какой-либо идейной серьезности. Умрищев же уныло промолвил, что ошибиться он давно не может, поскольку для оперативного свершения ошибки надо все же сунуться куда-то или во что-то, а он давно уж ни до чего не касается, особенно до вопросов мировоззренчества.

— Товарищи, на дворе, пока мы сидим, наступил тем временем вечер, — сказал в заключение Умрищев. — Посмотрите, как это довольно хорошо. Посмотрите затем на советскую старушку (он показал на Федератовну) — разве это не вечер капитализма, слившийся на севере с зарей социализма? И разве не приятно сказать нашей Федератовне, этой доброй тетушке всего будущего и теще всего прошлого, словесную милость? Пусть она утешается по-пустому на старости лет.

Здесь Федератовна, как была, так и схватила Умрищева за отросшую бороду, на что Умрищев даже не вскрикнул, решив уже претерпеть все это, как самую дешевую муку, а Божев моментально обнял всю старушку — с одной стороны, для ласкового успокоения, с другой — для защиты Умрищева. Но Федератовна, обернувшись, хлестнула ладонью по лицу Божева, и он не посмел обидеться. Ночью же,учтя эпоху, Божев уничтожил все ночлежные тыквы, чтобы улучшить тем самым свое политическое положение и ослабить очередную невзгоду жизни.

* * *

На следующий день доярку Айну понесли в гробу два выходных пастуха. За ее гробом шла подруга профуполномоченная, провожавшая тело, несмотря на неплатеж Айной членских взносов, тут же находился кузнец Кемаль, вздыхавший все время от какой-то нечленораздельной силы, затем двигался Умрищев с Божевым и в стороне ото всех шла Надежда Босталоева, держа за руки Мамеда, малолетнего брата Айны. Впереди гроба шел Вермо. Один скотник имел хроматическую гармонию и дал ее Вермо, чтобы музыка сопровождала погибшую.

До могилы было далеко — версты две; друг Айны, кузнец Кемаль, выбрал для погребения сухое песчаное место и вырыл там могилу, чтобы девушка побольше пролежала целой.

Когда вышли подальше, Николай Вермо сыграл по слуху Апассионату Бетховена; в течение игры он чувствовал радость и победу, и желание отомстить всему миру за беззащитность человека, которого несли мертвым следом за ним. Существо жизни, бепощадное и нежное,

волновалось в музыке, оттого что оно еще не достигло своей цели в действительности, и Вермо, сознавая, что это тайное напряженное существо и есть большевизм, шел сейчас счастливым. Музыка исполнялась теперь не только в искусстве, но даже на этом гурте – трудом бедняков, собранных изо всех безнадежных пространств земли.

С пустого неба солнце освещало землю и шествие людей; белая пыль золовых песков неслась в атмосферной высоте – вихрем, которого внизу не было слышно, – и солнечный свет доходил до земной поверхности смутным и утомленным, как сквозь молоко. Жара и скука лежали на этой арало-каспийской степи; даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в их уме. Вермо, мгновенно превращавший внешние факты в свое внутреннее чувство, подумал, что мир надо изменять как можно скорей, потому что и животные уже сходят с ума. В этом удручении Вермо спросил у Босталоевой, что ей представлялось, когда он играл.

– Мне представлялась какая-то битва, – как мы с кулацким классом, и музыка была за нас! – ответила Босталоева.

Вермо сыграл далее свое сочинение, заключавшее надежду на приближающийся день жизни, когда последний стервец будет убит на земле. Вермо всегда не столько хотел радостной участи человечеству, – он не старался ее воображать, – сколько убийства всех врагов творящих и трудящихся людей.

Поэтому его музыка была проста и мучительна, близкая по выразительности к произношению яростных слов. Одна пьеса Вермо такой и была, и он сыграл ее, когда гроб поднесли в степной песчаной могиле. Умрищев и Божев не понимали музыки Вермо; они думали, что эти звуки имеют горестное значение, и понемногу плакали из приличия.

Около открытой могилы уже сидела Федератовна и смотрела внутрь земли. Она смерти не боялась, ей только было удивительно – куда же денется ее активная сила, если ей придется умереть, и кто будет болеть тогда старой грудью за совхозное дело.

– А ты что ж, мало плачешь-то? – спросила она у Божева. – Ишь какой сухой весь пришел!

– Ветер слезы сдувает, Мавра Федератовна, – объяснил Божев.

– Ветер? – удивилась Федератовна. – А ты отвернись от него на тихую сторонку и плачь!..

Божев отвернулся и посилился добавочно поплакать, гладя свое лицо со лба вниз, – но Федератовна, обождав, подошла к нему, провела рукой по лицу, попробовала слезную влагу Божева на язык и обнаружила:

– Разве это слезы? Они же не соленые! Ты пот со лба на глаза себе сгоняешь, – ты вон что надумал, кулацкий послед!

— Ей-Богу, это слезы, Мавра Федератовна, — увещевал Божев, — у тебя язык не чует.

— У меня-то не чует? — допытывалась Федератовна. — А если б и чуял, так я своему языку не поверю, я только уму своему верю да партии большевиков!..

Айну в тот момент положили на край могилы. Все прибывшие люди стояли вокруг покойной и смотрели в ее лицо, уже снедаемое ветхими силами смерти, старое, как у Федератовны.

— Прощай, дочка! — сказала Федератовна и, согнувшись, поцеловала Айну, и видно было, как тело старухи стало изнемогать от немощи, от забот и от злости к действующему живому врагу.

Надежда Босталоева расцеловала девушку-киргизку страстно и несколько раз, а Умрищев только коснулся рукой ее лба и произнес: "Что ж тут горевать или поражаться: смерть всегда присутствует в текущих делах истории!"

Вермо попрощался с Айной предпоследним; целуясь с умершей, он подумал, что если б она осталась жива, он мог бы жениться на ней. Афанасий же Божев припал к Айне в последнюю очередь, и зарыдал над ней искренним голосом.

— Это он от страха старается: горя в нем нету! — определила Федератовна страдание Божева.

Но Божев поднял лицо кверху и все увидели на нем открытую печаль. Кузнец Кемаль спустился в могилу, и ему подали гроб; Кемаль положил получше гроб в земле и прибил крышку, навеки отделив умершую от ее врагов и товарищей, от всей будущей жизни, которую Айна хотела, как девушка и комсомолка.

Брат Айны Мамед, не горевавший по сестре, потому что она стала для него страшная и чужая, подошел в Божеву и сказал ему:

— Дядь, на ней твоя веревка осталась. Она кругом пуза завязана. Ты ее лучше возьми.

Кемаль сейчас же вскрыл гроб и развязал у покойной пояс. Это была крученая бичева, какие применяют для кнутов. Кемаль тут же отдал эту бичеву Божеву и закрыл гроб вторично.

— Ей больно было, а ты ее бил! — равнодушно сказал Мамед Божеву, глядя на крученую бичеву. — Она взяла и умерла, а ты с веревкой остался!

* * *

На гурт "Родительские дворики" прибыло много народа. Москвич, член правления Скотоводообъединения, и худой секретарь недалекого райкома партии повели так называемое глубокое обследование всего мясосовхоза; Умрищев же был на воле и давал начальству такие объяснения, которыми старался поставить всех в тупик.

— Был ли на совхозе распространен ваш лозунг "а ты не суйся!"? — спрашивал Умрищева секретарь райкома.

— Был, конечно, — охотно отвечал Умрищев; чем вопрос был опасней, тем Умрищев добрее и подробней отвечал на него. — Вот Божев сунулся к Айне — ее погубил и сам пропал. Этот лозунг, дорогой товарищ, идет по всему свету еще от Иоанна Грозного, а Грозный ведь был глубокий человек: ты возьми данные истории! Желаешь, я тебе предложу кое-что для чтения?

— Не желаю, — говорил секретарь. — Вы мне скажите другое: сколько ежедневно пропадало молока в совхозе? Сколько у вас выдаивалось из совхозных коров молока — руками окрестных кулаков и зажиточных единоличников? Можете ответить?

— Ну, еще бы! — сообщал Умрищев. — Наша старушка Федератовна совалась, вот, повсюду и говорила мне, что ведер тыщу. А если б она не совалась, то и до тебя бы дело не дошло и вопроса такого бы не стояло.

— Хорошо, — спокойно произносил секретарь, безмолвно борясь со своим сердцем. — Сколько племенных совхозных коров кулаки обменяли на свой беспородный скот? — При содействии Божева, конечно!

— Я в этот счет не вмешивался, - с точностью отвечал Умрищев. — Я вел глубокую тактику и довольно принципиальную политику. А именно: пускай хоть кулаки, хоть бедняки, хоть — кто, поменяют немножко своего скота на наш. Кулака раскулачат, бедняк войдет в колхоз — и все совхозное племя попозже или пораньше все равно очутится в общественном секторе. А вот в этом-то и скажется доброе, хозяйственное и ведущее влияние совхоза на колхозную прицепку! Теперь тебе понятно?

— Вы подлец и дурак, — тихо сказал секретарь, бледнея от сдерживаемого страдания: — кулак порежет наш племенной скот, а ваш беспородный скот принесет нам одни убытки и повальные болезни.

— Какой это ваш и какой это мой скот? — спросил Умрищев. — Я имею собственность только в виде идейных мыслей, а не коров, я ношу при себе билет члена партии! Ты, брат, особо-то не суйся!

— Вы правы, — говорил секретарь, — билет члена партии вы носите при себе. Но я не прав, что сволочь его носит!

Умрищев вскочил во весь рост, желая как можно мужественней возмутиться, но вдруг икнул два раза подряд от нервного страха и заикал далее беспрерывно.

— Это я... книг начитался. Это я... исторически хочу... Ты гляди на меня, как ...

— Как на икающего оппортуниста, — сказал секретарь.

— Хоть бы... так, — икая, соглашался Умрищев.

— Как на второго убийцу киргизской девушки и как на кулацкого мерзавца!

Здесь Умрищев позабыл икнуть очередной раз и вовсе освободился от икоты.

Секретарь райкома отвел глаза на маленько окно гуртовой избы и что-то подумал о летнем дне, блестевшем за стеклом. Он вообразил красоту всего освещенного мира, которая тяжко добывается из резкого противоречия, из мучительного содрогания материи, в ослепшей борьбе, – и единственная надежда для всей изможденной косности, – это пробиться в будущее через истину человеческого сознания – через большевизм, потому что большевизм идет впереди всей мучительной природы и поэтому ближе всех к ее радости; горестное напряжение будет на земле недолго. Секретарь райкома вспомнил затем Надежду Босталоеву, чьи черные таинственные волосы, скромный рот и глаза, в которых постоянно стоит нетерпеливое искреннее чувство, создавали в секретаре странное и неосновательное убеждение, что эта женщина одним своим существованием показывает верность линии партии и вся голова, туловище, всякое движение Босталоевой соответствует коммунизму и обеспечивают его близкую необходимость; Босталоева бы умерла при торжестве кулачества или мелкой буржуазии. Но секретарь был приучен большевизмом к беспощадному разложению действительности, и он сказал самому себе, не обращая внимания на Умрищева:

– Я, наверно, субъективно люблю Босталоеву и наряжаю ее в идеологическое подвенечное платье... Я опоздал, – ее надо давно назначить на гурт, пусть она покажет себя в действии, и я полюблю ее сильнее или разлюблю совсем...

Умрищев тем временем настолько обозлился на все сущее, что решил уехать в дальний сибирский район, сделаться там секретарем и основать районное негласное оппортунистическое царство, в форме Руси Иоанна Грозного или мещерского племени: все равно ничего не будет, пускай хоть покой обоснуется в отдаленном месте, а прожить можно одним пеньковым промыслом, или даже не евши, чем так теоретически мучиться.

– Как теперь партия? – спросил Умрищев: – наверно разлюбит меня?

– Очевидно, – сказал секретарь, и послал его к прокурору, который уже давно ожидал Умрищева где-то на завалинках гурта.

– Ну, тогда я соваться начну! – пообещал Умрищев, – как-нибудь она меня полюбит! – И ушел.

Как только завечерело, секретарь начал пить чай и позвал к себе Босталоеву с мальчиком Мамедом, чтобы угостить их чем-нибудь сладким. Федератовна же пришла по своей доброй воле и начала причитать беспрерывно, что районная контора задерживает контингенты стройматериалов для совхоза, что переводы кредитных лимитов опаздывают, что среди пастухов слаба культработа и малозаметно самоза-

крепление. При этом она плакала горючими слезами, так как у нее серьезно болело сердце, и запивала чаем потерю своих сил. Вспомнив об Айне, она уже не могла нагореваться: ведь было же четко и ясно, что Божев – классовый враг, отчего она не поверила своему предчувствию, своему ноющему сердцу, а ждала фактов, либеральничала и объективно помогала совершиться смерти.

– Бабка – дура, – сказал Мамед. – Всегда плачет и всегда живет. Сестра не плакала, а умерла...

– Я тебя в ясли завтра отдам: у подкулачников брехать научился? – сказала старуха.

– Там страшно, – произнес мальчик.

– А чего тебе страшно там? – спросила Босталоева.

– Там старик с бородой, как картина висит, – сказал Мамед. – Бабкин жених.

Секретарь и Босталоева поняли мысль ребенка и засмеялись, а Федератовна обиделась за Карла Маркса, хотя секретарь уверял ее, что и Маркс бы улыбнулся сейчас.

– Ты знаешь, отчего умерла твоя сестра? – спросил секретарь у Мамеда.

– Бабка говорила – от нее, – ответил Мамед: – У бабки бдительность пропала. А сестру Афанас измучил, не бабка.

Мальчик представлял сестру живостью всех фактов ее мучения. Она жила тогда за верст десять от гурта, в землянке у дальнего пастбища. Божев приезжал туда верхом на лошади с кнутом, а доярки, и Айна с ними, в бане не мылись, горячего к обеду не варили и спали от работы мало. Но Айна не горевала, потому что хотела сделать социализм, только чесала под рубашкой ногтями. Божев приезжал на коне, ел пышки из своего мешка и забирал с собою пастухов, – оставил только одного на пятьсот коров с быками. На ночь стадо расходилось без пути, пастух засыпал, а утром плакал нарочно, как будто от страха и горя, потому что в стаде начали пропадать полные красные коровы и являлись худые и мелкие, которые жрали и не росли, – молока же давали по четыре кружки. Именные быки тоже скрылись куда-то, а пришли незнакомые – они ходили скучные и худые, и совхозные коровы их били, а неизвестные быки молчали. Айна не стала спать, вышла на ночь пасти стадо, ходила в темноте и узнала, что приезжали верховые мужики, пригоняли своих коров с быками и угоняли совхозных. Айна ходила за чужими людьми следом, дошла до степных хуторов и возвратилась. Потом она пошла на гурт за людьми и ружьями, но ее встретил Божев и вернул обратно: "ты, говорит, бежать от стада хочешь, – ты летунья, ты врешь, я сам считаю коров по списочному числу". Когда сосчитал, оказалось верно. Божев изругал Айну: "тебе замуж надо, ты бесишься, все коровы целы, разве ты помнишь все пятьсот коров в морду?"

– Помню, – сказала Айна и побежала из стада на гурт. Божев дал ей время побежать, а потом нагнал и бил кнутом, как летунью, которая срывает планы прокормления рабочих и служащих.

Айна упала, Божев ее взял и привез. Скоро Божев прислал нового пастуха, потому что старый пастух пропал вместе с десятью коровами и маточным быком: новый пастух угонял стадо далеко и приводил его к вечеру без молока. Айна была умная и узнала, что кулацкие и зажиточные жены выдаивают коров вдалеке. Она тайно добежала до директора Умрищева, но Умрищев сказал ей: "не суйся, работай под выменем, чего ты все бесишься!"

Айна не вернулась в стадо, а пошла в районный комитет партии. К ней пристали еще две подруги-доярки, которые бежали навсегда от жизни в степи, Айна же шла по делу. Божев скакал за ними полдня; доярки прятались, но Божев разглядел их с лошади и опять бил Айну кнутом, как кулацкую девку, которая срывает дисциплину и уводит рабочую силу. Айна говорила ему, что идет выходить замуж за тракториста. Божев же спросил у нее отпускной талон и снова рубцевал, что не было талона. Однако двух других доярок Божев не задержал, и они убежали, – довольные, что спаслись и пропали бесследно. Когда Божев остался с Айной один в пустых местах, он вдруг весь осознался и стал напуганным. От страха смерти, которая достанется ему за порчу батрачки, Божев вдруг полюбил Айну. Он задумал так сильно и искренно обнять Айну, чтобы его любовь дошла к ней до сердца и она бы за все простила ему и согласилась быть женой. Он стал добрым, плакал до вечера у бедного подола Айны, обнимал ее измученные ноги и бегал в истоме по песчаным барханам. Айна все время не давалась ему, потом опять пошла дальше в район. Но Божев вновь достиг ее и шел за ней молча, бросив лошадь, а вечером изувечил ее, когда Айна усталая и измученная легла на землю. Айна схватила Божева за горло, когда была под его тяжестью, и душила его, но сила клокотала в горле Божева, он не умер, а сестра Мамеда ослабела и заснула. Наутро Божев оправил оборванную Айну, отыскал лошадь, подпоясал доярку бичевой от своего кнута и повез женщину на гурт, все время искренно лаская доярку за плечи, а встречным людям говорил, что он на ней скоро женится, так как полюбил. Айна стала смирная; ей дали два выходных дня подряд, и она, обмывшись в бане, ходила с Мамедом по полю и так целовала брата, что плакала от своей жадности и нежности к нему. Потом она сказала Мамеду, как большому, все, что было, и ушла за конфетами в совхозный кооператив. Целую ночь она не приходила, а после ночи увидели, что она висит мертвая на постройке колодца и под ногами у нее лежит кулек с конфетами и зарплата за четыре месяца.

* * *

Божева осудили и увезли в городскую тюрьму. Там его вывели однажды во двор и поставили к ограде, сложенной из старого десятивершкового кирпича; Божев успел рассмотреть эти ветхие кирпичи, которые до сих пор еще лежат в древних русских крепостях, погладил их рукой в своей горести – и вслед за тем, когда Божев обернулся, в него выстрелили. Божев почувствовал ветер, твердою силой ударивший ему в грудь, и не мог упасть навстречу этой силе, хотя и был уже мертвым; он только сполз по стене вниз.

Умрищев же сумел убедить кого-то в районном городе, что он может со временем, по правилам диалектического материализма, обратиться в свою противоположность; благодаря этому, его послали работать в колхоз, ограничившись вынесением достаточно сурового выговора. В колхозе же, расположенном невдалеке от "Родительских двориков", Умрищев стал поступать наоборот своим мыслям: как только что надумает, так вспомнит, что его природа – это ведь оппортунизм, и совершит действие наоборот; до некоторого времени названные обратные действия Умрищева имели успех, так что бывшего директора колхозники выбрали своим председателем. Но впоследствии Умрищева ожидала скучная доля, о которой в свое время стало известно всем...

Уезжая, член правления скотоводного треста и секретарь райкома определили гурту "Родительские дворики" быть самостоятельным мясосовхозом, а директором нового мясосовхоза назначили Надежду Босталоеву, носящую в себе свежий разум исторического любопытства и непримиримое сердце молодости.

В помощницы себе Босталоева взяла Федератовну, а Николая Вермо назначила главным инженером совхоза. Зоотехник Високовский пришел к Босталоевой в землянку и вежливо, тщательно скрывая свою производственную радость, поздравил Босталоеву с высоким постом. Он надеялся, что эволюция животного мира, остановившаяся в прежних временах, при социализме возобновится вновь и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни.

– Теперь засыпается пропасть между городом и деревней, – сказал Високовский: – коммунистическое естествознание сделает, вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку... Пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена...

– Будет еще лучше, – обещала Босталоева. – Самая далекая ваша мечта все равно не опередит перспектив нашей партии... Между живой и мертвой природой будет проложен вечный мост.

Високовский ушел и на совхозном подворьи подхватил и унес к себе своего любимого подсвинка.

Босталоева разобралась в планах и директивах, а затем позвала к себе Вермо и Федератовну.

– Вермо, – сказала она. – В прошлом году "Родительские дворики" поставили пятьсот тонн мяса, в этом году нам задали тысячу тонн, а поголовье увеличивается процентов на двадцать, потому что мало пастбищ и мало воды...

Вермо улыбнулся.

– Мы должны выполнить, Надежда, – отозвался инженер. – Москва вызывает нас на творчество, нормальной мещанской работой взять такого плана нельзя, – значит, в центре доверяют нашим силам...

– Партия уж слишком любит массы, – сказала Федератовна, – оттого она и ценит так ихний ум. Без ума этот план нам сроду не взять!

– Мы поставим три тысячи тонн говядины, – высказалась Босталоева: – мы не только трудящийся, мы творческий класс. Правда ведь, товарищ Вермо?

Инженер молчал; он воображал великий расчет партии на максимального человека массы, ведущего весь класс вперед, – тот же расчет, который имел сам Ленин перед Октябрем месяцем семнадцатого года.

– Да то, ништ, не правда? – ответила Федератовна. – Уже дюже массы жадны стали на новую светлую жизнь: никакого укороту им нету!

Вермо ушел в полынное поле и только что приготовился подумать о выполнении огромного плана, как ему в лицо подул дальний ветер с запахом горелой соломы. Инженер почувствовал, что этот ветер ему знакомый – ветер не изменился, изменилось и выросло лишь тело Вермо, но и в глубине его тела осталось что-то маленькое неизменное – то, чем вспомнил он сейчас этот теплый ветер, пахнущий дымом далеких печек, второй раз в жизни подувший ему в лицо из дальних мест. Вермо обратился к самому себе и ощутил свое сердце, все более наполняющееся счастьем, – так же, как в детстве тело наливается зреющей жизнью. Когда же дул этот ветер в первый раз в лицо Вермо? Он обернулся на "Родительские дворики". Там робко дымила одна печная труба, – это кухонные мужики растопляли кухню для обеда: шло лето, грусть роста и надежды на еще не сбывшееся будущее расстилалась по неровному миру, – это уже чувствовал Вермо когда-то, в свой забытый день. Над "Родительскими двориками" не хватало мельницы, моловшей зерно: такая мельница была в родном месте Вермо, где он вырос и возмужал. И еще не было в совхозе такого дома, где бы тебя всегда ожидали, – не было отца и матери, – но зато в совхозе была Босталоева, Федератовна, Високовский, а мельницу можно построить... Вермо вспомнил летний день детства на окраине родины – маленького города – и этот ветер, который нес тогда дым жизни далеких и незнакомых людей.

Мельницу же в "Родительских дворика" надо построить теперь же. Сила ветра будет качать сейчас воду из колодца, а осенью и зимою, когда дуют самые плотные ветры, сила воздушного течения будет отапливать помещения для скота, где целых полгода зябнут и худеют коровы. Пусть теперь степной ветер обратится в электричество, а электричество начнет греть коров и сохранит на них мясо, сдуваемое холодом зимы: скучную силу осеннего ветра и зимнюю пургу, поющую о бескрайности жизни, наступило время превратить в тепло, и во вьюгу можно печь блины.

Вечером Вермо сказал Босталоевой, как нужно отопить совхоз без топлива. Босталоева позвала Високовского, Федератовну, кузнеца Кемаля, еще двоих рабочих, и все они прослушали инженера.

Кемаль заключил, что дело ветряного отопления – безубыточное, – он сам думал о том, только не знал электричества, хотел, чтобы ветер вертел и нагревал трением какие-либо бревна или чурки, а чурки тлели бы и давали жар; однако это технически сумбурно.

– А хватит нам киловатт-часов-то? – спросила Федератовна. – Ты амперы-то сосчитал с вольтами? – испытывала старуха инженера Вермо. – Ты гляди, раз овладел техникой!.. А проволоку, снур и разные частички где ты возьмешь? Мы вон голых гвоздей второй год не допросимся, алебастру, извести и драни нет нигде...

– Я поеду в район, в край и достану все, что нужно, сама, – сказала Босталоева, запечалившись вдруг отчего-то. – Високовский, сколько мы нагоним мяса, если в скотниках будет тепло?..

– Можно телят вынашивать круглый год, – размышлял Високовский. – Весной мы родили две тысячи телят, а теперь будем осеменять коров круглый год – получим минимум три тысячи телят, на добавочную тысячу больше. Это при том стаде, какое у нас есть...

Далее Високовский сделал расчет на бумаге; он сообразил, сколько дадут товарного мяса добавочные телята, на сколько самое меньшее пополнеют, благодаря теплу, взрослые животные, – и выразил цифру: 300 тонн чистого живого мяса, не считая громадной прибавки молока и масла от улучшения бытовых условий.

– Почти двадцать вагонов! – обрадованно произнесла Босталоева. – Мы это сделаем, товарищ Вермо! Бабушка, ты будешь бригадиршей на постройке... Бабушка, возьмись по-старинному, когда великаны жили, говорят...

– Обожди, девчонка! – осерчала Федератовна. – Великаны были только сильны, а по уму любой цыпленок норовистей их. Обождите, вам говорят!.. Если на небе тихо, а на дворе мороз в тридцать градусов по Реомюру, в тридцать семь по Цельсию: вы тогда – что?!

Вермо выдумал быстрее, чем кончила Федератовна.

– Мы, бабушка, из коровьих лепешек брикетов наделаем в за-

пас. Пусть Кемаль сделает деревянный пресс для обжима и брикетирования коровьих лепешек... •

— Я уж ему раз двенадцать говорила, дураку, — сказала Федератовна. — Лежит зимой добро по всему гурту, а скот зябнет...

— Мне оппортунист Умрищев не велел, — оправдывался Кемаль. — Я несколько раз докладывался: пора, говорю, нам заготовить деревянный блюминг, что ж это такое? — Коровы ведь зарождают в туловище не одно молоко с мясом, а и топку! Давай, говорю, мне двух плотников и слесаря на помощь — я тебе из коров Донбасс сделаю, я тебе из коровьего желудка центральное отопление поставлю...

— Кто будет крутить нам брикетный пресс? — спросил Вермо.

— Два вола, — сообщил Кемаль.

— Нет, ветер, — не согласился инженер: — не тратьте животных, живите за счет мертвой природы.

— Я люблю вас, гражданин Вермо, — произнес Високовский.

— Ветер лучше, — согласился Кемаль. — Пресс можно крутить, когда ветряк не нужен для тепла.

Федератовна, хоть и была довольна, но не очень — она потребовала от Вермо, чтоб он составил проект с экономической стороны, а она его проверит со всех точек: старуха была настолько скупа и осторожна в отношении социализма, что даже для верного друга требовала предосудительного контроля, — мало ли совершается в советском мире расточительства, благодаря действию слишком радостных чувств?

Вермо согласился составить проект, а Федератовна пошла заботиться по советскому мясному хозяйству; она уже полгода как не спала, только дремала на заре, объясняя это тем, что она уже старая и ей было достаточное время выспаться при империализме.

Под вечер старуха села в совхозную таратайку и поехала по всем пастбищам, по всем стадам, наживавшим себе тело в степях, и когда развернулась ночь, то все еще гремела в пространстве таратайка Федератовны, — этот звук старушечьей езды наводил жуть на нерадивых гуртоправов, потому что невозможно было что-либо скрыть от бессонной специальной бдительности Федератовны, умудренной хитростью классового врага. Даже лучшие доярки вздрогнули, когда узнали, что старуха стала помощником директора. Покойница Айна давала больше всех работы — она выдаивала по 190 литров молока в сутки, при норме в 125, бабушка же однажды просидела в степной ферме трое суток и надоила 700 литров.

— Сучки-подкулачницы, — сказала тогда Федератовна двум бабам-лодырям. — Только любите, чтоб вам груди теребили, а до коровьих грудей у вас охоты нет...

Она помнила всех выдающихся коров в совхозном поголовьи, а быков знала лично каждого. Проезжая сквозь жующие стада, старушка всегда сходила с экипажа и бдительно осматривала скотину, особенно

быков – их она пробовала кругом, даже вниз к ним заглядывала: целые и здоровы ли у производителей все части жизни.

Сейчас уж далеко звучала таратайка Федератовны и удалялась все более скоро, потому что старуха совала рукой в кучера и пилила его сзади своими словами.

В эту ночь, когда поднялась луна на небе, животные перестали жевать растения и улеглись на ночлег по балкам и понизовьям, напившись воды у колодцев; несъеденная трава тоже склонилась книзу, утомившись жить под солнцем, в смутной тоске жары и бездождья. В этот час Босталоева и Вермо сели верхами на лошадей и понеслись, обдаваемые теплыми волнами воздуха, по открытому воздушному пространству земного шара...

Забвение охватило Вермо, когда скрылось из глаз все видимое и жилое и наступила одна туманная грусть лунного света, отвлекающая ум человека в прохладу мирной бесконечности, точно не существовало подножной нашей земли. Не умея жить без чувства и без мысли, ежеминутно волнуясь различными перспективами или томясь неопределенной страстью, Николай Вермо обратил внимание на Босталоеву и немедленно прыгнул на ее коня, оставив своего свободным. Он обхватил сзади всю женщину и поцеловал ее в гущу волос, думая в тот же момент, что любовь – это изобретение, как и колесо, и человек, или некое первичное существо, долго обвыкался с любовью, пока не вошел в ее необходимость.

Босталоева не сопротивлялась, – она заплакала; обе лошади остановились и глядели на людей.

Вермо отпустил Босталоеву и пошел по земле пешком. Босталоева поехала шагом дальше.

– Зачем вы целуете меня в волоса? – сказала вскоре Босталоева. – У меня голова давно немытая... Надо мне вымыться, а то я скоро поеду в город – стройматериалы доставать.

– Стройматериалы дают только чистоплотным? – спросил Вермо.

– Да, – неясно говорила Босталоева, – я всегда все доставала, когда на главной базе работала... Вермо, сговоритесь с Високовским, составьте смету совхозного училища: нам надо учить рабочих технике и зоологии. У нас не умеют вырыть колодца и не знают, как уважать животных...

Но Вермо уже думал дальше: колодцы же ветхость, они ровесники происхождению коровы как вида: неужели он пришел в совхоз рыть земляные дыры?

К полуночи инженер и директор доехали до дальнего пастбища совхоза – самого обильного и самого безводного. После того пастбища – на восток – уже начиналась непрерывная пустыня, где в скучной жаре никого не существует.

Худое стадо, голов в триста, кочевало на беззащитном выпускном

месте, потому что нигде не было ни балки, ни другого укрытия в тишине рельефа земли. Убогий колодец был серединой ночующего гурта, и в огромном пойловом корыте спал бык, храпя поверх смирившихся коров.

Редкий ковыль покрывал здешнюю степь; при этом много росло полыни и прочих непищевых, бедных трав. Из колодца Вермо вытащил на проверку бадью – в ней оказалось небольшое количество мутной воды, а остальное было заполнено отложениями четвертичной эпохи – погребенной почвой.

Почуяв воду по звуку бадьи, бык проснулся в лотке и съел влагу вместе с отложениями, а ближние коровы лишь терпеливо облизали свои жаждущие рты.

– Здесь так плохо! – проговорила Босталоева с болезненным впечатлением. – Смотрите, – земля, как засохшая рана...

Вермо с мгновенностью своего разума, действующего на все коренным образом, уже понял обстановку.

– Мы достанем наверх материнскую воду. Мы нальем здесь большое озеро из древней воды – она лежит глубоко отсюда в кристаллическом гробу!

Босталоева доверчиво поглядела на Вермо: ей нужно было поправить в теле это дальнее стадо, кроме того, Трест предполагал увеличить стадо "Родительских двориков" на две тысячи голов; но все пастбища, даже самые тощие, уже густо заселены коровами, а далее лежит умершее пространство пустыни, где трава вырастает только после воды. И те пастбища, которые уже освоены, также нуждаются в воде, – тогда бы нормы утроились, скот не жаждал, а полумертвые ныне земли покрылись бы влажной жизнью растений. Если брикетирование навоза и пользование ветром для орошения даст триста тонн мяса и двадцать тысяч литров молока, то откуда получить еще семьсот тонн мяса для выполнения плана?

– Товарищ Босталоева, – сказал Вермо, – давайте покроем всю степь, всю Среднюю Азию озерами ювенильной воды! Мы освежим климат и на берегах новой воды разведем миллионы коров! Я сознаю все ясно!

– Давайте, Вермо, – ответила Босталоева. – Я любить буду вас.

Оба человека по-прежнему находились у колодца, и бык храпел возле них. К колодцу подошел пастух. Он был на хозрасчете. У него болело сердце от недостачи двух коров, и он пришел поглядеть – не чужие ли это люди, которые могут обменять коров или выдоить их, тогда как он и сам старался для лучшей удойности не пить молока.

Вермо в увлечении рассказал пастуху, что внизу, в темноте земли лежат навеки погребенные воды. Когда шло создание земного шара, и теперь, когда оно продолжается, то много воды было зажато кристаллическими породами и там вода осталась в тесноте и покое. Много во-

ды выделилось из вещества, при изменении его от химических причин, и эта вода также собралась в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде...

— Ну как засиделая девка в шалаше, — обратно объяснил пастух инженеру: — выпусти ее, она тебе сразу рожать начнет, из нее так и посыпется.

Вермо не услышал: он заметил, как дрожали первичные волны рассвета на востоке, и мучил в темноте своего сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще неизвестную самой себе, но связанную с рассветом нового дня. Однако оперевшись рукой на спящего быка, Вермо уже приобрел другую догадку: не пришла ли пора отойти от ветхих форм животных и завести вместо них социалистические гиганты, вроде бронтозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой?

На обратном пути Вермо погрузился в смутное состояние своего безостановочного ума, который он сам воображал себе в виде низкой комнаты, полной табачного дыма, где дрались, оборвавшиеся от борьбы, диалектические сущности техники и природы. Не было того естественного предмета или даже свойства, судьбу которого Вермо уже не продумал бы навеки вперед; поэтому он и в Босталоевой видел уже существо, окруженное блестящим светом социализма, светом таинственного летнего дня, утонувшего в синеве своих лесов, наполненного чувственным шумом еще неизвестного влечения.

Когда же Вермо глядел на конкретный вид Босталоевой и на других ныне живущих людей, вырывающихся из мертвого мучения долготы истории, то у него страдало сердце и он готов был считать злобу и все ущербы существующих людей самым счастливым состоянием жизни.

* * *

Возвратившись среди утренней зари на "Родительские дворики", Вермо и Босталоева встретили бригаду колхозников, и Босталоева велела колодезному бригадиру прийти вечером к инженеру Вермо, чтобы решить вопрос о добыче подземных морей.

Молодой бригадир Милешин невнимательно потрогал ногу Босталоевой, сидевшей на лошади, и ответил:

— Товарищ директор. Прошлый год было постановление районного съезда о бурении на глубокую воду. Я тогда докладывал, и моя речь транслировалась по радио на все колхозы-совхозы. Я добился, как факт, что у нас нет воды, ее не хватит социализму, — у нас только есть одна сырость, один земляной пот... Я вечером приду.

Босталоева сняла шапку с бригадира гидротехников и пошевелила ему волосы.

Далее инженер и директор поехали по малоизвестной ближней дороге, и вскоре им представился странный вид земли, будто оба человека очутились в забытом сне: пространство лежало не в ширину, в толщину, и всюду были такие мощные взбугрения почвы, что делалось скучно и душно в мире, несмотря на окружающую прелесть свежего дня.

"Надо использовать тяжесть планеты! – заботливо решил Вермо, наблюдая эту толщину местной земли. – Можно будет отапливать пастушьи курени весовою силой обвалов или варить пищу вековым опусканием осадочных пород..."

Жалкий человек с большой бородой стоял невдалеке на толстой земле и читал книгу при восходящем солнце. Простосердечный Вермо решил, что тот человек полюбил теорию и думает, вероятно, о пролетарской космогонии, наблюдая одновременно солнце в упор. Но Босталоева сразу рассмеялась:

– Это Умрищев, – сказала она. – Он думает, что тут было при Иване Грозном: не лучше ли?

И действительно, то стоял в глубоком размышлении Умрищев, держа ветхую книгу в руках. Он небрежно глядел в сияющую природу и думал о чем-то малоизвестном; лицо его слегка похудело, но зато густо обросло волосом и в глазах находилось постоянное углубление в коренные вопросы человеческого общества и всего текущего мироздания.

Он не заинтересовался конными людьми, – ответил только на привет Вермо и дал необходимое разъяснение: что колхоз его отсюда не виден – виден лишь дым утренних похлебок, что сам он там отлично колхозирует и уже управился начисто ликвидировать гнусную обезличку, и что теперь он думает об усовершенствовании учета: учет. – Умрищев вдруг полюбил своевременность восхода солнца, идущего навстречу календарному учтенному дню, всякую цифру, табель, графу, наметку, уточнение, талон, – и теперь читал на утренней заре Науку Универсальных Исчислений, изданную в 1844 году и принадлежащую уму барона Корфа, председателя Общества Поощрения Голландских Отоплений. Одновременно Умрищев заинтересовался что-то принципиальной сущностью мирового вещества и предполагает в этом направлении предпринять какие-то философские шаги.

Босталоева скучно и гневно глядела на Умрищева и пустила лошадь в сильный бег; эта женщина не верила в глупость людей, она верила в их подлость.

Вермо оглянулся издали на Умрищева – все так же стоял человек на толстой земле, вредный и безумный в историческом смысле. Вермо сейчас же предложил Босталоевой собрать все районные невыясненные и подопытные личности в одно место и поставить производство исторического идиотизма в крупном, или хотя бы полузаводском мас-

штабе, – с тем, чтобы заблаговременно создать для будущих поколений памятники последних членов отживших классов; Умрищев ведь тоже хотел как нравственная и разумно-культурная личность быть занесенным в список штатных единиц истории!

Босталоева ответила, что поучительные памятники следует устраивать после гибели враждебных существ, – теперь же нужно заботиться только об их безвозвратной смерти. Вермо наклонился с седла, чтобы лучше разглядеть классовое зло на лице Босталоевой, но лицо ее было счастливое и серые глаза были открыты как рассвет, как утреннее пространство, в котором волнуется электромагнитная энергия солнца.

Вермо почувствовал эту излучающую силу Босталоевой и тут же необдуманно решил использовать свет человека с народно-хозяйственной целью; он вспомнил про электромагнитную теорию света Максвелла, по которой сияние солнца, луны и звезд и даже ночной сумрак есть действие переменного электромагнитного поля, где длина волны очень короткая, а частота колебаний в секунду велика настолько, что чувство человека скучает от этого воображения. Вермо вспомнил далее первичную зарю сегодняшнего дня, когда свет напрягался на востоке и слабел от сопротивления бесконечности, наполненной мраком, – и Вермо, оперишсь тогда на быка, утратил в темноте своего тела пробуждавшееся рациональное чувство освещенного неба...

И сейчас еще Вермо не знал, что можно сделать из небесного света.

– Товарищ Босталоева, – сказал он, – дайте мне руку...

Босталоева дала ему свою опухшую от ветра и работы руку, и оба человека проехали некоторое время со сдвоенными руками, причем Вермо жал руку женщины, помогая этим не страсти, а размножению, – у него даже остыло все тело, теплота которого ушла на внутреннюю силу задумчивости.

Вскоре показалось расположение "Родительских двориков", беспомощное издали, особенно если сравнить с Двориками небесное пространство, напряженное грозной и безмолвной электромагнитной энергией солнца.

* * *

К ночи Босталоева назначила производственное совещание.

Колодезный бригадир Милешин, зоотехник Височовский, инженер Вермо, Федератовна, кузнец Кемаль, пять гуртоправов (потому что совхоз состоял из пяти участков) и старший пастух Климент, выбранный как природный практик председателем производственного совещания, присутствовали на этом собрании уже загодя. Повестка дня состояла из вопросов переустройства всего мясного хозяйства, ради того, чтобы произвести говядины в совхозе не тысячу тонн, как задано планом, а две тысячи; далее следовало задуматься над пастбищами для

прокорма новых двух тысяч коров и сорока быков, о которых в дирекции получено письмо, что они гонятся пешим шагом из соседнего района — отсюда полтораста верст.

Как только опустилась вечерняя заря, так приехала и Босталоева из степи, закончив где-то свои дневные заботы.

Климент, глядя на солнце привыкшими глазами, сказал заседанию, что пора уже хозяйски думать о социализме, чтоб в степи было все экономично и умело.

— Во мне, вот, лежит большевистский заряд, — сказал Климент. — А как начну им стрелять в свое дело, так выходит кой-что мало... Ты скотину напитаешь во как, я сам траву жую, прежде чем скотину угощаю, а отчет мне показывают — по молоку недоборка, а по говядине скотина рость перестала!.. На центральном гурте взяли сорок рабочих всякого пола из колхоза, по сговору, — мне два помощника, два умных на глаз мужика досталось. Что ж такое?! Ходят они, бушуют и стараются — я сам на них пот щупал, — а все на моем гурте как было плохо, так стало еще хуже... Не досмотрю сам — скотина стоит в траве голодная, а не ест непоенная! А мужики мои аж скачут от ударничества, под ними воды бегом бегут, а куда — неизвестно, кликнешь — они назад вернутся, прикажешь — тужатся, проверишь — проку нету. Это что такое, это откуда смирное охальство такое получается? Злой человек — тот вещь, а смирный же — ничто, его даже ухватить не за чего, чтобы вдарить!...

— У нас классовая борьба, — тихо сказала Босталоева.

— Да-то что ж! — сразу согласился Климент. — А то не она, что ль?

— Откуда твои мужики-то, дурак бесхарактерный? — спросила Федератовна. — Из какого этого колхоза тебе помощь дали?

— А из того, матушка старушка, где наш прошлый директор книги читает. Он там мужикам какую-то слабость организовал и говорит, чтоб никто не горевал, потому что все на свете есть электрон, который никуда не денется, хоть вся диктатура иди против него. Теперь там зажиточное население всех про электрон спрашивает: каждый хочет электроном стать, а как — не знают...

— Вермо, — обратилась Босталоева, — поезжайте, пожалуйста, с Федератовной в колхоз к Умрищеву и объясните ему, что такое электрон. Теперь давайте обсудим зимнее отопление коровников.

Собрание вступило в это обсуждение, а Високовский вручил Босталоевой бумагу, где описывал суточное положение совхоза, здоровье скота, отгон масла из молока — и между прочим отмечалась последняя пропажа восьми коров и смерть двенадцати голов телят. Босталоева с терпеливым сердцем прочитала бумагу; она знала, что надо беречь свою ненависть, чтоб ее хватило до конца классового врага.

Собрание приняло решение строить ветряное отопление и рыть землю вглубь, вплоть до таинственных девственных морей, дабы вы-

пустить оттуда сжатую воду на дневную поверхность земли, а затем закупорить скважину, и тогда среди степи останется новое пресное море — для утоления жажды трав и коров.

Ввиду дальности и безвестности ювенильной воды Вермо предложил прожигать землю вольтовой дугой, которая будет плавить кристаллические толщи и входить в них, как нож в тесто.

Федератовна, по своей скупости на социалистические средства, не велела было этим заниматься, но Вермо объяснил ей, что глубокое бурение электрическим пламенем безусловно является событием всемирно-исторического значения, и старушка, улыбаясь щербатым ртом, согласилась, так как была слаба на славу. Вслед за тем собрание начало думать, — куда поместить новые две тысячи коров, и Вермо выдумал уже было кое-что, ничего не выдумывать он не мог: он бы разрушился от напора личной жизни, — но Кемаль, с мгновением столь же оживленного разума, предложил резать плиты в ближайшем месторождении известкового камня и строить из этих плит скотные жилища.

— Резать камень надо не железом, а электрическим огнем: двое рабочих могут заготовить и сложить тысячу скотомест! — враз сообщил Вермо.

— Хорошо сказал! — обрадовался Кемаль и тут же сказал еще лучше: — А соединять плиты друг с другом мы будем электрической сваркой — такой же вольтовой дугой, которой мы нарежем плиты в карьерах!..

Вермо вытер заслезившиеся от восторга глаза и встал на ноги, будучи рад всеобщей радостью.

— Вы забыли про коровьи брикеты, — напомнила Босталоева; ее глаза побелели от усталости, она наклонилась на свои руки и потеряла во сне сознание.

Проснулась она уже поздно ночью в своей комнате и сразу велела запрягать лошадь, чтобы ехать до железной дороги и выспаться в степной повозке.

Босталоева решила немедленно достать в краевом центре стройматериалы и оборудование и построить до зимы новые коровьи помещения, а также отопительный ветряк с динамо-машиной и пресс для брикетирования коровьих лепешек. Что касается девственных морей, то Босталоева задумала поступить в городе в институт и учиться заочно, с тем чтобы самой стать инженером и проверить проект Вермо; а сейчас начать эту работу она стеснялась, потому что не понимала еще внутреннего устройства земного шара и не видела ни разу вольтовой дуги. Был еще один трудный выход: перевыполнить вдвое-втрое план, получить премию и добиться согласия всех рабочих совхоза приобрести на премиальные деньги машину для бурения земли электрическим огнем. Что мешало этому?

В совхозе играла хроматическая гармония; это Вермо выдумы-

вал музыку – он чаще всего играл свои текущие сочинения и сразу же их забывал.

Вокруг совхозного поселения лежала неизвестная тьма, укрыв дальние и беззащитные стада; еще далее тех стад были колхозы, деревни, бывшие уездные города – тысячи дружелюбных и ненавидящих людей; советские коровы сейчас лежали у водопоев, быки храпели, и равнодушные пастухи варили себе что-нибудь на ночь, чтоб не скучать от голода во сне... Только десятая часть пастухов были коммунистами, которые старались спать днем, и то посменно, а ночью они ходили во тьме с открытыми глазами. Если каждые сутки будет исчезать по восемь коров, то сколько можно отправить мяса в Донбасс и в Сталинград?

Босталоева сложила в чемодан два запасные платья, ведомость потребных стройматериалов и оборудования, белье, поглядела на себя в зеркало и села на кровать в одиночестве. "У меня ведь нет родственников! – вспомнила она. – Была одна сестра, но мы забыли писать письма друг другу!.. Не забудь узнать в Ветеринарном институте, – Височковский не напомнил мне, – как добывают семя из мочи для искусственного оплодотворения... Вермо! Я хочу выйти замуж за тебя при социализме; а может быть, расхочу еще!"

Вермо в тот час играл, как он думал, сонату о будущем мире: в виде выдуманных им звуков ходили по благородной земле гиганты молока и масла – живые существа, но с некоторыми металлическими частями тела, дабы лучше было уберечь их от болезней и обеспечить постоянство продуктивности; например, – пасть была стальная, кишечник оперирован почти начисто (против заболеваний от разложения кала), а молочные железы должны иметь электромагнитное усовершенствование. Свободные доярки и рабочие слушали музыку Вермо и его разъяснения о значении исполняемой музыки, и тогда только верили, что это так.

Босталоевой подали повозку. Она вышла в дорожном плаще, ее черные волосы блестели от света через окно, и ей стало страшно уезжать из совхоза, когда он остается один во тьме.

Она позвала Федератовну, велела ехать ей завтра вместе с Вермо в умрищевский колхоз, увидеть все, что следует, и если нужно – поставить в райкоме вопрос о немедленной ликвидации остатков кулачества и об удалении из района мясосовхоза всех буржуазных, жестких элементов, иначе хозяйство вести нельзя.

– Я заеду сама в райком, – сказала Босталоева. – Проверьте лучше электрон Умрищева: по-моему, это его новый политический лозунг.

– С Умрищевым я одна управлюсь, – высказалась Федератовна: – электрон я знаю что такое, меня физике научили, это такая частичка,

а лозунги я чую даже, когда сам оппортунист молчит про них! Поезжай, девочка, – наган не забудь взять!

Вермо опечалился. Дерущиеся, диалектические сущности его сознания лежали от утомления на дне его ума.

– Надежда Михайловна, – произнес Вермо, – я ехал с вами утром и увидел на небе электромагнитную энергию! Нам нужно сделать оптический трансформатор – он будет превращать пульсацию солнца, луны и звезд – в электрический ток. Он будет питаться бесконечным пространством, он...

– Да остановись ты думать хоть ради человека-то, – обиделась на Вермо Федератовна. – Человек уезжает, а он бормочет – голову ей забивает. Девке и без тебя есть забота: иль мы сами физики не знаем, один ученый какой! Что ты, при капитализме, что ли, живешь, когда одни особенные думали!

– До свиданья, Вермо, – подала руку Босталоева: – Делайте пока земляные работы, а я привезу оборудование...

С теми словами Босталоева уехала в темноту, в далекий краевой город.

* * *

В одно истекшее летнее утро повозка Надежды Михайловны Босталоевой – директора мясосовхоза "Родительские дворики" остановилась в селе у районного комитета партии. Различные партийцы расположились кругом комитета на раннем солнце; многие спали с омертвевшими впадинами глаз, другие говорили что-то и глядели в широту пространства, где было много положено их молодости и силы и где сейчас уже стлался газ тракторов, блестел тес новостроек, шли на работу бригады людей, – пустоту и скорбь капитализма сменял многолюдный социализм.

Секретарь райкома спал: он лег в постель не более двух часов назад, потрудившись всю ночь. Босталоева не хотела ждать и вошла в комнату спящего секретаря. Он открыл глаза и узнал ее сразу, потому что все время помнил о ней и втайне ожидал ее, хотя и не имел никакой сладкой надежды.

Босталоева сообщила свою просьбу; секретарь лежа прослушал ее, не понимая вначале ничего. Она ему нравилась, как соучастница в мучительной классовой борьбе, как товарищ по беспрерывной работе и как женщина, не имеющая никакого тайного личного наслаждения, так же, как и сам секретарь.

– Про умрищевский колхоз мы уже знаем кое-что, – сказал секретарь в ответ. – Вчера мы постановили на бюро проверить положение колхозов вокруг твоего совхоза и выжечь остатки кулачья.

Босталоева попрощалась с секретарем и уехала. Секретарь райко-

ма засмотрелся ей вслед с крыльца дома — ему стало жалко, что она уезжает; все люди, которых он наиболее любил, постоянно были невидимы: находились вдалеке, поглощались трудом, исчезали из дружбы — и нужно ждать еще пять или десять лет, чтобы наступил коммунизм, когда механизмы вступят в труд и освободят людей для взаимного увлечения.

В краевом городе Босталоевой негде было остановиться. Все гостиницы давно наполнились безвыездными инженерами и квалифицированными рабочими Ленинграда и Москвы. Босталоева попала в город в ту пору, когда в нем почти не было приюта, потому что буржуазно-семейные убежища строители снесли в прах, а новые светлые сооружения еще не просохли для вселения.

Тогда Босталоева поселилась в том учреждении, где она хотела достать стройматериалы: ей пошел навстречу местком, который отвел ей для ночлега свою комнату и дал зеркальце, как члену союза и женщине. Ночью Босталоева открыла окно из месткома и засмотрелась в освещенное, гремящее строительство заводов, улиц и жилых домов. В учреждении было темно: молча лежали архивы, скрывая в бумагах бюрократизм, вредительство, бред мелких исчезающих классов и воодушевленный героизм. Босталоева прошла по коридорам гулкого учреждения, потрогала папки в шкафах и серьезно задумалась в скучной пустоте канцелярий.

Вымывшись в ванне, которая вполне разумно была приурочена к какому-то кабинету, Босталоева переоделась в чистое белье и легла спать на столе месткома, слушая через открытое окно шум ночной работы, голоса людей, смех женихов и невест, завыванье напряженных машин, гудки транспорта, песни сменившихся красноармейских караулов, — весь гул большевистской жизни.

Она заснула успокоенная и счастливая, не услышав, как во второй половине ночи по ней ходили крысы.

Наутро Босталоева пошла ходатайствовать о бревнах, гвоздях, о динамо-машине, о проволоке и о железных частях для пресса, который должен сжимать коровье кало и делать из него топливные брикеты.

В большом зале учреждения стоял гул от умственной работы, сотни усердных служащих соображали о снабжении тысячи строительств и беспрерывно бились на плановом поприще с представителями мест, употребляя чай в промежутках труда.

В углу того зала сидел молодой еще, но уже поседевший ответственный исполнитель по разнарядке стройматериалов: он уныло глядел в чад пространства своего учреждения, не видя возможности удовлетворить самым необходимым даже ударные строительства и спецработы.

Босталоева подошла к нему.

— Мне нужен ящик гвоздей, — сказала она.

Исполнитель улыбнулся и отечески-ответственно сообщил ей:

— Голубушка моя, мне гвоздей нужно десять тысяч тонн!.. Вы откуда?

Босталоева уселась и с задушевностью надежды рассказала исполнителю всю нужду своего совхоза. Когда она говорила, к исполнителю подошли еще посетители и местные служащие; все они слушали женщину и явно улыбались над ее просьбой о внеплановом снабжении, но сам исполнитель был грустен.

— На весь ваш район мы дали пол-ящика гвоздей: возьмите оттуда себе горсть, — сказал исполнитель, привыкнув к строительному страданию.

Все люди, бывшие близко, удовлетворенно засмеялись: они пришли по делам планового снабжения и действовали не на основе искренности, а посредством высшего комбинирования.

— Вы сволочь! — произнесла Босталоева. — Дайте мне ваш бумажный план, я выдумаю вам гвозди!

Ответственный исполнитель сначала составил акт об оскорблении себя в присутствии свидетелей, а затем дал ей план, поскольку это было его обязанностью.

Босталоева рассмотрела всю разверстку гвоздей, и ей жалко стало каждое строительство, потому что каждое строительство просило жадно и каждому давалось мало, — она не могла указать, кого надо обездолить, чтобы совхоз получил гвозди. В конце ведомости было четыре тонны проволоки-катанки, назначенной в контору оргтары для опытной увязки.

Босталоева пошла к начальнику учреждения с плановой ведомостью в руках; начальник, оголтелый от голода на стройматериалы, сидел среди чада в своем кабинете, окруженный многолюдством ходатаев по делам. Его убеждали, перед ним открывали очаровательные перспективы пускового чугунного завода, если только начальник даст гвоздей, ему угрожали карами вышестоящих инстанций и его угощали экспортными папиросами; начальник глядел в воздух сквозь дремоту своей усталости и, втайне радуясь, полагал про себя: "Старайтесь, крутитесь, черти, — ничего я вам не дам: учитесь изобретать и находить подкожные ресурсы!"

Заметив неслужебное лицо Босталоевой, начальник сразу подозвал ее и вник в ее дело. Босталоева предложила начальнику отдать ей полтонны катанки, а она вместо катанки сделает в совхозе опытную увязку из соломы и пришлет ее орга-таре.

Начальник учреждения, пожилой рабочий, вдруг потерял свою дремоту и ясными глазами оглядел всю Босталоеву:

— Тебе сколько — полтонны нужно? — спросил он. — Возьми себе все четыре, а ты из них дело сделаешь... Горюнов! — крикнул он ближ-

нему секретарю. — Снять катанку с орга-тары, перенарядить ее "Родительским дворикам"! Поставить вопрос об этой орга-таре перед РКИ, пускай ей шерсть там опалят: надо показать мерзавцам, что металл бывает горячий. — Верещасный! — провозгласил начальник поверх гула учреждения в сторону ответственного исполнителя: — зайди ко мне после занятий, я тебя, может, уволю за проволоку...

В тот же день Босталоева отправила три тонны катанки на совхоз, а одну тонну оставила на складе; затем — уже к вечеру — она явилась на гвоздильный завод и попросила директора нарубить ей из проволоки гвоздей.

— А за что мне их вам рубить? — сказал директор. — За ваши глаза?

— Да, — ответила Босталоева, и посмотрела на него своими обычными глазами.

Директор глянул на эту женщину, как на всю федеративную республику, — и ничего не сумел промолвить: сколько он ни отправлял в республику продукции, выгоняя промфинплан до полутораста процентов, республика все говорила — мало даешь — и сердилась. И теперь стояла перед ним эта женщина, требовательная, как республика, и так же лишенная пока богатых фондов и особой прелести.

— Разве поцеловать мне вас за гвозди! — улыбнулся директор.

— Ладно, — согласилась Босталоева.

Директор с удивлением почувствовал себя всего целиком, — от ног до губ, — как твердое тело и даже внутри его все части стали ощутительными, — до этого же он имел только одно сознание на верху тела, а что делалось во всем его корпусе — не чувствовал.

— А вы не обидетесь? — спросил директор, бдительно наблюдая кабинет: нигде не слышно было шагов, телефон молчал, вентилятор гудел ровно, как безмолвный.

— Не обижусь, — ответила Босталоева, — потому что я привыкла... Прошлый год я доставала кровельное железо, мне пришлось за это сделать аборт. Но вы, наверно, не такая сволочь...

— Нет, — спокойно сказал директор, садясь на место. — Где ваша катанка: вечером я сам стану за автомат, вы подождете десять минут и получите свои гвозди... Везите катанку сюда.

Директор равнодушно опустил голову к текущим делам. Босталоева сама подошла к нему и поцеловала его — таким способом, что впоследствии, когда Босталоева уже ушла, директор ходил в уборную глядеться в зеркало — не осталось ли чего на его лице от этой женщины, потому что он все время чувствовал какой-то лишний предмет на своих губах.

Вечером Босталоева получила гвозди на заводе. Директор сам вывез ей из цеха четыре ящика на электрокаре и взял расписку в получении продукции. Босталоева отправила гвозди на вокзал и пошла

ночью, под взошедшей слабой луной, по новостроющимся гремящим улицам. Она читала вывески неизвестных ей организаций – "Химрадий", "Востокогаз", "Электробюро высоких напряжений", "Комиссия воздуходувок", "Контора тяжелых фундаментов", "НТО изучения вибрации промустановок", "КрайВЭО" и т.п. – и рада была, что таинственнные, мутные и нежные силы природы действуют в рядах большевиков, начиная от силы тяжести и кончая нежной вибрацией и электромагнитной волной, трепещущей в темной бесконечности.

Окна "КрайВЭО" были освещены; девушки-техники работали, склонившись над чертежными досками; молодой инженер, поседевший от бурной технической жизни, проверял на логарифмической линейке расчеты техников и показывал изуродованным рабочим пальцем в просчеты и ущербы чертежей.

Босталоева прислонилась лицом к оконному стеклу и долго смотрела на своих ровесниц и товарищей. Лунная ночь шла в легком воздухе, летние сады и травы по-прежнему произрастали на земле, но они были почти безлюдны теперь, как отжившее явление, никто не гулял по ним в праздности настроения.

Босталоева вошла в КрайВЭО, подумала в недоумении про свою долю и попросила динамо-машину в сто лошадиных сил у заведующего сектором снабсбыта. Заведующий ничего не сказал в ответ Босталоевой, только посмотрел куда-то мимо нее – в страну электрического голода. Босталоева прошла в своем мучении, что нету машины, по нагретым, освещенным горницам учреждения, и ей понравился глубокий труд технической науки. Одна чертежница миловидно улыбнулась Босталоевой; Босталоева тотчас же заметила эту человечность и, склонившись над чертежной доской, две женщины поговорили, как подруги: одна скучала по ребенку, ожидавшему мать до полуночи в запертой комнате, другая хотела динамо-машину. По утрам та чертежница занималась в Чертежно-конструкторском институте, а после, не заходя домой, сразу поспевала на работу; ночью же она старалась меньше спать, чтобы больше видеть своего ребенка. Босталоева обещала чертежнице приходить в ее комнату с вечера и заниматься с ребенком, пока возвратится мать.

На другой день Босталоева так и сделала, переселившись в жилище чертежницы на время командировки. Она рисовала четырехлетнему мальчику коров и солнце над ними, она изобразила партийную умную старушку Федератовну, потом быка, коровью драку у водопоя, одинокий мальчик смотрел и слушал эти факты с пользой и удивлением. Наконец пришла мать, которая долго не давала спать ребенку, и с подробностью рассказала ему, что она делала в долгий день, и про динамо-машину, которую она начала чертить в институте с натуры.

Босталоева сразу же узнала от матери-чертежницы, что это – большая динамо-машина, – она давно стоит в аудитории как чертежная мо-

дель, но сколько в ней сил, неизвестно: завтра чертежница обещала списать табличку-спецификацию.

Утром Босталоева пошла в то учреждение, где она впервые стала на ночлег, и там ей дали повестку, чтоб она явилась днем в нарсуд — как ответчица по делу о названии сволочью государственного служащего.

Рабочий судья прочитал вслух перед лицом интересующегося народа дело Босталоевой и вдруг дал свое заключение: ответчицу оправдать и вынести ей публичную благодарность за бдительность к экономии металла, а истца-служащего признать действительной сволочью и предать наказанию как негодную личность. Народ вначале было озадачился, но потом обрадовался суждению судьи; истец же наклонил лицо и публично опозорился, впредь до особых заслуг перед рабочим классом.

Из камеры суда Босталоева ушла, как артистка, — под звуки всеобщих приветствий, и сам судья воскликнул ей: "до свиданья, приходите к нам еще выявлять эти элементы!"

Была еще середина дня, шло жаркое лето и время пятилетки. Заботливая тревога охватила сердце Босталоевой, когда она остановилась среди краевого города, — с жадностью глядела она на доски и бревна построек, на грузовики с железными принадлежностями, на провода высокого напряжения, — она болела, что в ее совхозе много одной только природы и нет техники и стройматериалов. Еще Босталоева страдала о том, что мало будет мяса для гремящего на постройках пролетариата, если даже "Родительские дворики" дадут две тысячи тонн, — и ей надо поскорее маневрировать.

Босталоева зашла в институт к подруге-чертежнице и увидела старую динамо-машину, с которой студентки чертили детали. Она прочитала на неподвижной машине надпись, что в ней 850 ампер, 110 вольт, но не знала — сильно это или слабо. Выйдя из Института, она написала телеграмму Вермо, что машина есть, но в ней 850 ампер и по ней учатся черчению молодые кадры: как же быть?

* * *

Ночью инженер Вермо прислал Босталоевой ответную телеграмму: "Придумал более совершенную, современную конструкцию динамо-машины, делаем ее из дерева и проволоки во всех деталях, окрасим в нужный цвет и вышлем багажом институту. Так как чертить можно с деревянной разборной модели — обменяйте нашу деревянную на ихнюю металлическую, наша деревянная конструктивно лучше, для черчения полезней".

— Дорогой мой Вермо, — подумала Босталоева. — Где живет сейчас твоя невеста? Может быть, еще пионеркой с барабаном ходит!..

На другой день Босталоева вошла к секретарю ячейки чертежно-конструкторского института. Побледневший человек, спавший позавчера, выслушал женщину и встал со своего места с восторгом.

— Отправляйте сегодня же нашу динамо в ваш совхоз! — воскликнул он, наполнившись сознательной радостью. — Мы будем чертить трансформатор, пока не привезут деревянную модель вашего инженера... Сколько, вы сказали, добавит мяса динамо-машина? — я забыл.

— Сто или двести тонн, — сообщила Босталоева.

Ей захотелось сейчас сделать какое-нибудь добро этому товарищу; она любила всякое свое чувство сопровождать веществом другого человека, но секретарь глядел на нее отвлеченно, и она воздержалась.

Через несколько суток секретарь сам построил упаковочные ящики и отправил динамо-машину в "Родительские дворики", в то же время он попросил еще раз приехать через полгода, но Босталоева лишь косвенно улыбнулась на это.

— Тогда мы возьмем шефство над вашим совхозом! — провозгласил секретарь ячейки.

— Ладно, — согласилась Босталоева. — Вы помогите нам организовать в совхозе учебный комбинат. Нам хочется достать ювенильное море, тогда мы нарожаем миллионы телят и вы не успеете поесть наше мясо... Но вперед нам нужно сто пастухов сделать инженерами.

— Ювенильное море! — вскричал секретарь, сам не зная, что это такое, но чувствуя, что это хорошо. — Мы добьемся через Крайком в порядке шефства, чтоб теперь же у вас был технический комбинат!

— Нам нужна электротехника, гидрология и наука о мясном животноводстве, — говорила Босталоева, — плюс еще общая подготовка...

— Дело! — радовался секретарь. — Сегодня же поставлю шефство на ячейке и на общем собрании. Обними меня.

Босталоева обняла это худое тело, выгоревшее сразу от всех лучших причин, какие есть в жизни.

— Достань мне электрические печи для коровников, — скромно улыбнулась Босталоева, не оставляя оглядывать секретаря, — и арматуру для них, и наружные изоляторы, и еще кое-что... На тебе спецификацию.

— Печей нету нигде, — отказал секретарь, уходя в сторону. — Через месяц у нас будет практика в конструкторских мастерских: сделаем через два месяца в порядке шефства, давай спецификацию! Тебе не поздно?

— Ладно, — разрешила Босталоева, — мне даже рано, мне нужно к зиме.

Она ушла; секретарь склонил свою голову к столу и перестал чувствовать в сердце интерес к окружающим фактам.

— Буду шефствовать! — с горем выступающих слез воскликнул он и стал провертывать на столе текущие дела.

В тот день Босталоева уехала на подводе в леспромхоз. У нее появилось целесообразное желание – завести себе посюду шефов, чтобы обратиться к сердцу рабочего класса и тронуть его.

В леспромхозе Босталоева прожила целую декаду, прежде чем успела добиться любви к "Родительским Дворикам" у всего треугольника. Однако же директор леспромхоза решил упрочить свою симпатию к мясосовхозу чем-нибудь более выдающимся, чем одно симпатичное настроение. И он написал двустороннее шефское обязательство, по которому леспромхоз немедленно отправлял в совхоз бревна, доски, брусья, оболонки и различные жерди, а совхоз ежемесячно должен отгружать леспромхозу по две тонны мяса, в качестве добровольного угощения!

Но когда вопрос о шефстве был поставлен на коллективное размышление рабочих, Босталоева объявила, что она согласна угощать рабочих, но только чтобы директор не ел ее мяса, потому что он допустил в подходе к шефству оппортунистическую практику, а она оппортунистов питать не хочет – она не гнилая либералка.

Сидевшее собрание встало наполовину при этих словах и отказалось есть даровое мясо Босталоевой, вымученное из нее директором. Председатель профкома произнес свою речь, где он уничтожил всякий факт нищенства и угощенчества, в которых рабочий класс никогда не нуждается.

Директор, пока слушал, уже успел написать в блокноте черновик признания своей правой, деляческой ошибки. На квартире он не спал всю ночь; он глядел через одинарное окно в тьму лесов, слушал голоса полуночных птиц и ожидал от тишины природы смирения своих тревожных чувств; но и тут он не мог успокоиться, поскольку такое отношение к природе есть лишь натурфилософия – мировоззрение кулака, а не диалектика. На рассвете директор вышел в контору и там написал чернилами раскаяние в одной ошибке и ордер на отправку "Родительским дворикам" лесоматериалов в полуторном количестве против того, что просила Босталоева.

К вечеру того же дня Босталоева приехала обратно в крайцентр. Она уже тосковала по совхозу, у нее даже болел иногда живот от страха, что в "Родительских двориках" что-нибудь случится. У Босталоевой осталась теперь одна забота – заказать пресс для приготовления навозных брикетов, а потом уехать в степь. Промучившись целый ряд суток по всему кругу учреждений, Босталоева не нашла себе такого сочувствия, чтобы ей дали предметы для устройства пресса, и притом во внеплановом порядке. В горе своем Босталоева пришла в Крайком партии. Там ее принял третий секретарь крайкома, старик, паровозный машинист; он пил чай с домашним пирогом и старался вообразить себе ясно этот пресс, делающий топливо из животных нечистот.

– Хорошо, – сказал в заключение старик, представив себе жму-

щую машину пресса. – Зачем ты шаталась по всему нашему бюрократизму, кустарная дурочка! Ты зашла бы ко мне сразу.

Старый машинист позвонил по телефону в Институт Неизвестных Топливных Масс и велел помочь "одной девице" жечь коровье добро, а вечером пусть Институт сообщит ему на квариру свое исполнение.

– Ступай теперь, умница, в этот институт, – сказал секретарь. – Там ребята тебе сделают пресс... Спроси инженера Гофта, это мой помощник – не здесь, там на паровозе... Если обидишься на что-нибудь, зайди опять ко мне.

По уходе Босталоевой, секретарь долго был доволен: старый механик почувствовал, что ушедшая девушка носила в своей голове миллион тонн нового топлива. Доев домашний пирог, он пошел к первому секретарю краевого комитета и сказал ему, что настала пора обратить в топливо все животные извержения, лежащие на площади края. Первый секретарь согласился подумать над этой задачей в текущих делах бюро.

Когда наступило бюро, то на заседание вызвали, как докладчика, Босталоеву и двух теплотехников из Института Неизвестных Топлив. Обсудив мероприятие, бюро крайкома поручило Институту сделать в течение двух месяцев два опытных пресса для "Родительских двориков", а сам босталоевкий совхоз превратить в свою опытную станцию, связавшись с инженером Вермо и кузнецом Кемалем.

Наполнившись счастьем своих достижений, Босталоева уехала наутро в "Родительские дворики", навстречу будущему времени своей жизни.

* * *

Тем временем, как Босталоева была в командировке, в "Родительских двориках" умерло восемнадцать коров, а у одного быка непонятным образом был отрезан член размножения и бык тоже умер.

Кроме того, семь коров были убиты в драке животных у дальнего водопоя, когда бык не сумел установить правильной очереди: старые коровы начали стервенеть и бодаться и семерых трехлеток кончили на месте.

Федератовна же лежала десять дней, больная животом и поносом, и только терла десны во рту, не имея зубов, чтобы ими скрипеть.

Височковский лично производил вскрытие коров и нашел причиной их смерти крупную нечищенную картошку, которую им скормили либо нештатные пастухи, либо неизвестные подкулачники. Височковский призвал к павшим коровам выздоравливающую Федератовну и, заплакав редкими слезами, жалобно сказал:

– Я не могу больше служить в таком учреждении!.. Я специалист, я никаких родных в мире не имею, я здесь животных воспитываю, а

ваши кулаки их картошками душат, ваши колодцы сухими стоят... Если кулаки у вас еще будут, а воды все мало и мало, я уеду отсюда. Я два года любил телушку Пятилетку, в ней уже десять пудов веса было, я мясного гения выращивал здесь, а ее теперь затоптали в очереди за водой! Это контрреволюция: я умру – или жаловаться буду!..

Федератовна скучно поглядела на Височковского, как глядела она обычно на беспартийных.

– Какие это наши кулаки, дурак ты узкий!. Езжай на дальние степи стеречь гурты, я всех пастухов арестовала.

– Сейчас поеду, – вытерев лицо, смирно согласился Високовский.

Федератовна сняла с работы также Вермо и Кемаля, вместе с их бригадами, рывшими котлованы под ветряную мельницу и еще под одно сооружение, смысла которого Вермо до приезда Босталоевой никому не говорил, – всю живую людскую наличность Федератовна бросила в мясные гурты.

Сама же Федератовна села в таратайку и поехала без остановки в умрищевский колхоз.

В колхозе была тишина, из многих труб шел дым, слабый от безветрия и солнечной жары, – это бабы пекли блинцы; на дворах жили толстые мясные коровы и лошади, на улицах копались куры в печной золе и из века в век грелись старики на завалинках, доживая свою позднюю жизнь. Грустные избы неподвижно стояли под здешним старинным солнцем, как бедное стадо овец, пустые дороги выходили из колхоза на вышину окружающих горизонтов, и беззаботно храпели мужики в сенцах, наевшись блинцов с чухонским маслом. Еще на краю колхоза Федератовна встретила четырех баб, которые понесли в горшках горячие пышки в совхоз своим арестованным мужьям пастухам; однако те бабы, видно, не особо горевали, так как ихние туловища ходили ходуном от сытых харчей и бабы зычно перебрехивались.

Тоска неподвижности простиралась над почерневшими соломенными кровлями колхоза. Лишь на одном дворе ходил вол по кругу, вращая, быть может, колодезный привод, водило, к которому был привязан вол, оказалось слишком длинным, так что для вола требовался большой круг и ему разгородили соседние плетни; поэтому вол то выходил на улицу, то скрывался на гумно. Одинокий поющий звук ворота, вращаемого бредущим одурелым животным, был единственным нарушением в полуденной тишине дремлющего колхоза.

Федератовна остановила свою таратайку и пошла сквозь по избам: ее всегда возмущала нерациональная ненаучная жизнь деревень, устройство печек без правильной теории теплоиспользования, общая негигиеничность и классовое исхищрение зажиточных жителей.

В первой же избе, которую посетила Федератовна, была бьющая в глаза ненормальность: в печке стояли два горшка с жидкой пищей и бежали наружу, а баба сидела на лавке с чаплей и не принимала мер.

Федератовна, как была, так и бросилась в печку и выхватила оттуда оба горшка голыми руками.

— Нет на вас образования, серые черти! — с яростью сказала Федератовна хозяйке. — Ведь жидкость-то расширяется от температуры, дура ты обнаглелая, — зачем же ты воду с краями наливаешь, чтоб жир убегал?.. А в колхоз небось шла — брыкалась! Да как же тебя, ломовую, образованию научить, если прежде всего единоличного демона твоего не задушить в тебе... У-у, антихристы, замучили вы нашего брата!.. Дай вот я к тебе еще приду... Я еще погляжу, как ты в ликбез ходишь, какая ты общественница здесь, дура неумильная!..

Федератовна ушла с несчастным сердцем, а дворовая баба сначала обомлела, а потом ощерилась.

В другой избе Федератовна начала кушать молоко и сливки и раскушала, что это совхозная продукция, отнюдь не колхозная: слишком высок процент жира и пенка вкусна. Здесь старушка ничего не сказала, а только вздохнула с протяжностью и положила зло в запас своего сердца.

На следующем дворе мужик-колхозник экстренно помчался куда-то, не видя гостью, а гостья села на лопушок и обождала его; в запертом сарае в тот час кто-то томительно рычал и давился, и вскоре оттуда же стали доходить мучительные звуки расставания с жизнью. Федератовна подошла к сараю и заметила в прореху, что там терзается корова и еще две коровы стоят около нее, облизывая языком ее уже утомляющееся смертью лицо. В тот момент мужик примчался обратно: он держал в одной руке топор, а в другой квитанцию и, отперев коровник, умертвил свое животное топором, зажав квитанцию в зубах. Кончив дело, мужик засунул руку в пасть коровы и вынул оттуда громадную размятую картошку, обмоченную кровью и слизью.

В эти моменты некоторые жители уже управились заметить таратайку Федератовны, и зажиточные ребятишки летали по дворам, предупреждая, кого нужно, что появилась сама старуха, чтоб все сидели смирно, а остаточное кулачество пусть прячется в колодцы. Спустя ряд мгновений в деревне потух ряд печек и несколько последних, исхищренных кулаков полезли по бурьянным гущам к колодцам и залезли в них по веревкам, а в колодцах сели на давно готовые, прибитые к шахте табуретки и закурили.

Федератовна как только вышла с последнего двора, как глянула своей зоркостью на изменившийся дух деревни, так у нее закипело все, что было внутри, даже съеденное кушанье.

Она пошла тогда к старому бедняку, своему другу, Кузьме Евгеньевичу Иванову, который в тот час облеживался после работы.

Кузьма Евгеньевич со всей симпатией встретил старушку и открыл ей тайну умрищевского колхоза.

— Я ведь здесь, как Союзкино-журнал, — сказал старик Кузьма,

любивший туманные картины еще со старого времени: – все вижу и все знаю... Вот что делается, кума, аж последняя теория замирает в груди!.. Дай-ка я тебе чайку погрею в чугуне.

Погрев чаю, бедный старик торжественно объявил, что он вчерашний день организационно покинул колхоз и стал революционным единоличником, ибо Умрищев учредил здесь кулачество.

Федератовна вцепилась здесь в бедняка-старика и, склонив его книзу за отросток волос, начала драть оборкой юбки по заднице:

– Вот тебе революционный единоличник! Вот тебе кулачество! Вот тебе Союзкино-журнал! Все видишь, все знаешь, – так не молчи, – действуй, бунтуй, старый сукин сын!.. Вот тебе теория, вот тебе – в груди она замирает! Не будь, не будь, – либералистом не будь! Старайся, старайся, активничай, выявляй, помогай, шагай, не облеживайся, не единоличничай, – суйся, суйся, суйся, бодрствуй, мучитель советской власти!..

Укротившись в этом бою и выпив чаю, чтоб не пропадала кипяченая вода, Федератовна пошла проверить экономику колхоза. Она обнаружила, что на каждом дворе была полная живая и мертвая утварь, – от лошади до борова, не говоря уже про пользовательных, про молочных или шерстяных животных. Что же, спрашивается, было обобществлено в этом колхозе?

Никакой коллективной конюшни или прочей общественной службы Федератовна не нашла, хотя и прощупала всю деревню сквозь, даже в погреба заглядывала и на чердаки лазила.

С этим непонятным мнением и бушующим сердцем Федератовна появилась к председателю Умрищеву. Умрищев, оказывается, жил в той самой избе, по усадьбе которой бродил вол, таская ярмо привода.

Умрищев сидел в занавешенной комнате, на столе у него горела лампа под синим абажуром, и он читал книгу, запивая чтение охлажденным чаем. Кроме лампы, на столе Умрищева крутился вентилятор и подавал в задумчивое лицо человека беспрерывную струю воздуха, помогающую неустанно мыслить мыслителю. Зная науку, Федератовна расследовала действие вентилятора и нашла, что он крутится силой вола, гонимого погонщиком, который ходил во след животному с лицом павшего духом; вол передавал свою живую мощь на привод, а от привода шли далее – через переходные оси – канаты, за канаты были привязаны веревки, а уж вентилятор вращала суровая нитка.

– Здравствуй, негодный! – сказала Федератовна.

– Здравствуй, старушка! – ответил Умрищев, – что это тебя носит по всей территории?! Ты бы лучше жила в сидячку и берегла силу в голове.

– Ты что это?.. Где у тебя тут диалектика действий? Ты что – ты кулачество здесь рожаешь?.. Я все, батюшка, знаю, я все,

батюшка, видела!.. Замолчи, несчастный схематик, – сейчас тебя тресну!

– Садись, – сказал Умрищев, держа одну руку близ утомившейся головы, а другую кладя на зачитанную страницу, – садись, старушка: в стоячку я не говорю... Ты у меня видела отсутствие обезлички – первый этап моего руководства.

– Какое такое отсутствие обезлички? – как молодая, затрепетала вся Федератовна. – А ты знаешь, что твои колхозники пастухами у нас были, что они коров наших в гроб кладут, целые гурты твои бабы отдаивают, что...

– Ты не чтокай, старушка, – возразил Умрищев, – ты тверже руководи, соблюдай классовую политику в отношении рабсилы и держись четче на своем посту.

Старуха подвигала пустыми деснами во рту и даже вымолвить ничего не смогла от напора ненавистных чувств.

– Ты погляди на мое достижение, – указывал со спокойствием духа Умрищев, – у меня нет гнусной обезлички: каждый хозяин имеет свою прикрепленную лошадь, своих коров, свой инвентарь и свой надел – колхоз разбит на секции, в каждой секции – один двор и один земельный надел, а на дворе – одно лицо хозяина, начальник сектора.

– А чьи же это лошади у твоих хозяев?

– Ихние же, – пояснил Умрищев, – я учитываю чувственные привязанности хозяина к бывшей собственной скотине: я в этом подходе конкретный руководитель, а не механист и не богдановец.

Старуха дрогнула было от идеологической страсти, но с мудростью сдержалась.

– Старичок, старичок, – слабо сказала она, – а в чем же колхоз у тебя держится?

– Колхоз держится только во мне, – сообщил Умрищев. – Вот здесь, – Умрищев прислонил ладонь к своему лбу, – вот здесь соединяются все противоречия и превращаются силой моей мысли в ничто. Колхоз – это философское понятие, старушка, а философ здесь я.

– А все у тебя состоят в колхозе, старичок?

– Нет, бабушка, – пояснил Умрищев. – Я не держусь абсолютных величин: все абсолютное превращается в свою противоположность.

– Покажи-ка мне классовую ведомость, – спросила Федератовна.

Умрищев показал на графу на бумаге, что двадцать девять дворов бедных и маломощных хозяев не состояло в колхозе – они отписались назад с приходом Умрищева, а всего в деревне было сорок четыре двора.

Федератовна вскочила с места, всем своим округленным телом, собираясь вступить с Умрищевым в злобное действие, но в дверь вошел в валенках чуждый человек.

— Здравствуй, товарищ Умрищев, — у меня горе к тебе есть! — сказал пришедший.

— Горе? — удивленно произнес Умрищев. — Для теоретического диалектика, товарищ Священный, горе всегда превращается в свою противоположность: горя боятся только идеалисты.

Священный, конечно, согласился, что горе для него не ужас, — однако у него прокисли прошлогодние моченые яблоки в кооперативе и стали солеными, как огурцы, а морковь пролежала свою сладость и приобрела горечь.

— Это прекрасно! — радостно констатировал Умрищев. — Это диалектика природы, товарищ Священный: ты продавай теперь яблоки, как огурцы, а морковь, как редьку!

Священный жутко ухмыльнулся своим громадным пожилым лицом, на котором лежали следы возраста и рубцы неизвестных побоищ; он с непонятной жадностью поглядел на старушку, а затем сразу захохотал и умолк с внезапным испугом, точно ощутив какое-то свое-контрольное, предупреждающее сознание. От его смеха по комнате понесся нечистый воздух изо рта и понятно стало, какую мощную жрущую силу носил в себе этот человек, как ему трудно было жить среди гула своего работающего организма, в дыму пищеварения и страстей.

Священный сел на скамейку в отдышке от собственной тяжести, — хотя он не был толст, а лишь громаден в костях и во всех отверстиях и выпуклостях, приноровленных для ощущений всего постороннего. Сидячим он казался больше любого стоящего, а по размеру был почти средним. Сердце его стучало во всеуслышание, он дышал ненасытно и смотрел на людей привлекающими, сырыми глазами. Он, даже сидя, жил в целесообразной тревоге — желая, видимо, схватить что-либо из предметных вещей, воспользоваться всем ощутимым для единоличной жизни, сжевать любую мякоть и проглотить ее в свое пустое, томящееся тело, обнять и обессилить живущее, умориться, восторжествовать, уничтожить и пасть самому смертью среди употребленного без остатка, заглохшего мира.

Священный вынул рукой из мешка, пришитого к своим штанам, кашу, съел четыре горсти и начал зажевывать ее колбасой, изъятой из того же мешочного кармана; он ел, и видно было, как скоплялась в нем сила и надувала лицо багровой кровью, отчего в глазах Священного появилась даже тоска: он знал, как скудны местные условия и насколько они не способны удовлетворить его жизнь, готовую взорваться или замучиться от избытка и превосходства. Надувшись и шумя своим существом, Священный молча жевал, что лежало в его кармане.

Умрищев, вспомнив про пищу и про то, что мысль есть материалистический факт, попросил у Священного пищи. Священный так чему-то обрадовался, что выбросил, как рвоту, жеваное изо рта и вынул из бокового мешка кривой кусок колбасы, закопченный на огне. Ум-

рищев без внимания взял колбасу, но Федератовна, как глянула на этот продукт, так завизжала, как девушка, и зажмурилась от срама: она узнала бычий член размножения, срезанный у производителя совхоза.

Умрищев же, начитавшись физико-математических наук, ничем теперь не брезговал, поскольку все на свете состоит из электронов, и съел ту колбасу.

Открыв глаза, Федератовна бросилась энергично на Умрищева и укусила его; однако ж, благодаря беззубию старушки, Умрищев не узнал боли и подумал, что в старухе загорелись стихии остаточных страстей – преддверие гроба. Захохотавший, развонявшийся Священный также получил укус Федератовны, но он лишь обрадовался, почувствовав вкус старухи.

На столе Умрищева остановился вентилятор; в дверь пришел сонный, унылый погонщик с топориком и сказал, что вол был сытый и здоровый, но скучный последнее время и умер сейчас: наверно от тоски своего труда для ненужного человека.

– Я теперь кандидат партии и ухожу со двора, – сказал погонщик. – Бабушка, – обратился он к Федератовне, – ты с совхоза, возьми меня туда.

– А что с тобою такое, родимец? – спросила Федератовна. – Чего ты прежде не сигнализировал, – какой ты кандидат партии!..

– Мне, бабушка, неважно тут стало, у меня сердце испортилось от них и ум уморился...

– А от чего ж у тебя сердце-то испортилось?

– От них, – сказал вентиляторный батрак. – У них такая наука, чтоб бить совхоз и твердеть зажиточному единоличнику... Мишка Сысоев двух телок у совхоза свел – а ты не знала, – он члену кооперации товарищу Священному их на фарш продавал, в кооперации товарищ Священный постоянно фарш на машине крутит, раньше хотел сосисочную фабрику открывать – теперь войны ожидает... Мишка Сысоев и Петька Голованец в пастухах были у тебя и хотели коров увезть: они порезали их на степи, а товариш Священный обещал им лошадь, потом подрался с нею и убил всю лошадь, – коров черекнули, а везти не на чем, тут ты поймала пастухов и в амбар заперла. Они теперь сидят, кричат – им там мочи нету, а бабы им блинцы пекут из твоего молока, а мука своя...

– Я не давал установок бить совхоз! – воскликнул Умрищев. – Я теоретик, а не практик: я живу здесь лишь как исторически заинтересованная личность, а в последнее время перехожу на точные науки, в том числе и на физику, и на изучение бесконечно больших тел! Это клевета классового врага на ряды теоретических работников!

Священный по-страшному и беспрерывно хохотал, а Умрищев глубоко, но чисто теоретически возмущался.

На дворе же все время шел жаркий дождь, стареющий в ветхой

пустынной пыли, покрытой чадом тления местной почвы, и весь колхоз находился в этой туманной неопределенности атмосферы.

— Ведь здесь же была ликвидация кулачества: кто же тут есть? — узнавала Федератовна, держа бдительный взгляд на всех присутствующих людях. — Где же тут сидит самый принципиальный стервец?

— А здесь — они, — вяло показал погонщик на Умрищева и Священного, — а под ними зажиточные остатки, которые жир наживают на твоей говядине с совхоза. У тебя за один год сто коров семнадцать дворов съели — и мало, а ты один обман знала...

Федератовна на вид не удивилась, только подернулась гусиной кожей возбуждения.

— А чего ж бедняки-колхозники глядели и молчали? — спросила она.

— А это же я и есть бедняк-колхозник, — с собственным изумлением сказал погонщик, сам в первый раз подумав, кто он такой. — Как же я молчу, когда я весь говорю. На тебе топорик, а то товарищ Священный сейчас убьет тебя.

Священный, чуть двинувшись, схватил погонщика вентиляторного вола поперек и начал давить его слабое тело до смерти, но погонщик стукнул его топором в темя незначительным ударом уставших рук, и оба человека упали в мебель. Умрищев, вообще не склонный к практике действий, обратил внимание Федератовны на полную неуместность происходящего факта. Тем временем лежачий Священный был далеко не мертвый и пробил ногами стену на улицу, высунувшись конечностями в деревню, но уже обратно он не мог подобрать свои ноги, потому что погонщик терпеливо дорубал голову своего врага.

Федератовна взяла погонщика за руку и увела его на двор. Погонщик напился на дворе воды, поглядел на оставшийся без Священного мир и повеселел:

— Это я работал на жаре без шапки, у меня голова ослабела, и я тебе знать ничего не давал. Как буду на совхозе работать, так куплю себе шапку.

— Нет, милый, — сказала Федератовна, — ты в совхозе не будешь работать... Ты зачем, поганец, человека убил? — что ты, вся советская власть, что ли, что чуждыми классами распоряжаешься? Ты же сам — одна частичка, ты хуже электрона теперь!

Погонщик помутился на вид и опустил рано стареющую голову.

— Это, бабушка, от жары: мне голову напекло... Дай я вот шапку куплю!

Федератовна пригнула погонщика и погладила его лохматую голову.

— Нет, ты брешешь, — голова у тебя нормальная...

На околице колхоза встал вихрь кругового ветра и поднял с земли разные предметы деревенского старья. Позади вихря шла, не колеб-

лясь, прочная туча дорожной пыли. Это двигалось добавочное стадо в "Родительские дворики", уже многие сутки одолевая пешком полтораста верст. Позади стада ехали на волах гуртовщики и ели арбузы от жажды.

Федератовна отправила убийцу-погонщика в совхоз со стадом и велела ждать ее, а сама села в таратайку и направилась в район, в комитет партии.

В районе Федератовна не застала секретаря партии, — он умер вскоре после свидания с Босталоевой, потому что у него вскрылась от истощения тела внутренняя рана гражданской войны.

Новый секретарь, товарищ Определеннов, уже знал курс дела в умрищевском колхозе и еще имел в своем распоряжении всю картину бушующих капиталистических элементов, окружающих "Родительские дворики".

А сейчас он грустно жалел, что не управился лично объездить колхозы умрищевского влияния, когда даже старушка мчится неустанно в таратайке по степи и действует энергичной силой.

Федератовна начала обижать Определеннова упреками, что он хуже покойника и руководит районом из своего стула, что он скатится в конце концов в схематизм и утонет в теории самотека. Секретарь, хотя и чувствовал свое слабое недовольство, все-таки радовался наличию таких старушек в активе района.

— Бабушка, — сказал с любовью к ней Определеннов, — Умрищева мы сегодня обсудим на бюро и отдадим из партии к прокурору, а тебя мы перебрасываем из совхоза на место Умрищева. Ты согласна?

Федератовна почувствовала было тоску, но сознание враз справилось в ней с ничтожным чувством личности, и она сказала:

— Согласуй с директором и пиши путевку, товарищ Определеннов, либо социализм, либо нет, — ведь вот вопрос-то!

Отвернувшись, Федератовна, как всякая рядовая бабка из масс, вытерла в знак огорчения свои глаза краем кофты — она чувствовала свое расставание с Босталоевой.

— Ты это что? — спросил Определеннов.

— Ты пиши, ты пиши наше партийное, а мое старое бабье выходит наружу.

— Да то-то! — сказал Определеннов, предначертывая какую-то повестку дня. — А я думал, ты горюешь о чем-то.

— Да то, пиши, не горюю, а то, ништ, не скучаю! — закричала вдруг Федератовна, — иль я безгрудая, бездушная, нездешняя какая!.. Родные мои Дворики, Надюшка моя, товарищ Босталоева, отымает меня Умрищев-злодей, уж смеркается сердце мое, схоронилися вы за дорогою... — И склонившись плачущим лицом на стол секретаря, старуха заголосила на весь районный центр.

Через час терпеливый Определеннов спросил у нее:

– Ну, как, бабушка?

– Обсохла уж, – ответила Федератовна. – Давай инструкцию на ликвидацию умрищевской школки.

Определеннов длительно улыбнулся и не стал учить умную и чувствительную старушку, поскольку она сама уже постигла все.

* * *

Надежда Босталоева возвратилась в "Родительские дворики". Она приехала тихо, в вечерние часы, на подводе привокзального единоличника.

Не доезжая двух верст, Босталоева остановилась. В совхозе стояла неизвестная башня, емкая и полезная по виду, хотя и невысокая по размеру. Закат солнца освещал темный материал местного происхождения, из которого была построена башня. Кроме башни, в совхозе был еще огромной силы и величины ветряк, при этом он крутился сейчас, в пустоте совершенно тихого воздуха.

Подъехав еще ближе, Босталоева убедилась, что землебитных жилых домов в совхозе уже нет, а также не было никаких других следов прежних обжитых "Родительских двориков" – ни шелюги, ни знакомых предметов, в виде тропинок, лопухов и самородных камней, доставленных сюда неизвестной силой, – теперь была лишь развороченная грузная земля, как битва, оставленная погибшими бойцами.

– Что здесь такое? – с испугом спросила Босталоева. – Где же мой совхоз?

Возчик-единоличник объяснил ей, что совхоз должен быть тут.

– А это просто какие-то факторы! – сказал возчик на башню и мельницу. – Теперь ведь много факторов в степи, а я живу около транспорта, я отсюда дальний. Транспорт, тот я знаю: тара 414 пудов, нетто, диаметр шейки, тормоз Казанцева, закрой поддувало и сифон! – автоблокировка, три свистка – дай ручные тормоза, два – освободи обратно, багаж принимается при наличии проездного билета, – а степь я не люблю: это место для меня как-то почти что мало вероятно, я люблю больше всего вагоны парового отопления и еще сторожевые будки. В будках хорошо живется сторожевому человеку: кругом тихо, работы мало, мимо поезда мчатся, выйди и стой себе с сигналом, а потом осмотри свой участок и заваривай себе кашу...

Босталоева со вниманием посмотрела на этого случайного, преходящего для нее человека: как велика жизнь, подумала она, и в каких маленьких местах она приютилась и надеется...

В снесенном совхозе ходили четыре вола по взбугренной почве и крутили мельницу наоборот, то есть не текущий воздух вертел снасть, а живая сила вращала снизу крылья в воздухе. Босталоева с удивле-

нием спросила у Кемаля, радостно созерцавшего такое разорение, что это означает.

Кемаль, назначенный к этому дню секретарем ячейки, подал Босталоевой разросшуюся от работы руку и сказал:

– Это мы притирку частей делаем, чтоб механизм обыгрался на ходу: новый паровоз тоже сам себя сначала не тянет, пока не обкатается...

Около мельницы гонял волов инженер Вермо, обнищавший в одежде и успевший постареть за истекшее время. Он было обрадовался, что видит Босталоеву, но вдруг задумался другим, нагрянувшим на него сомнением:

– Надежда Михайловна, – сказал он, – что если мы ликвидируем всех пастухов, а коров поручим быкам. Високовский мне говорил, что бык этот умник, если его приучить к ответственности: субъективтивно бык будет защитником коров, а объективно нашим пастухом, штатное многолюдство – это отсталость, Надежда Михайловна: нам надо поменьше людей, – в республике слишком много работы... Федератовна арестовала кулацких пастухов, а нам их теперь негде держать – их связал Климент веревкой от бегства и увел в районную тюрьму. Говорят, пастушьи бабы защекотали Климента в степи, а бабьи мужья разбежались. Динамо-машину мы получили, но без вас было скучно...

Инженер говорил что попало, пробрасывая сквозь ум свою скопившуюся тоску. Босталоева ничего не ответила Вермо: она настолько утомилась от своих действий в городе, от впечатлений исторической жизни, от своего сердца, отягощенного заглушенной страстью, что уснула вскоре в тени неизвестной башни, молчаливо обидившись на всех.

Проснулась она вечером, покрытая от росы и ночного холода разной одеждой.

Вблизи от Босталоевой сидели шестнадцать человек, среди них были Кемаль, Вермо и Високовский, и все они ели пищу из одного котла.

– Сломали весь совхоз, а сами кашу едят! – сказала Босталоева. – Сволочи какие!.. Кто из вас первый начал землю здесь рыть, здоровы ли гурты, где Федератовна-старушка?.. Кемаль, ты зачем тут глядел, кто эти люди сидят? Я прямо удивляюсь: какие вы малолетние! А я думала, вы и вправду коммунисты!

– Мы-то? – прохаркнувшись от мелкой каши с молоком, произнес Кемаль. – Мы-то не коммунисты? Ах ты дура-девчонка! Я старый кузнец и механик, я не смеялся тридцать лет, а вот пришел инженер Вермо, открыл нам пространство науки – и я улыбнулся на твой совхоз из землянок! Ты же все лозунги извращаешь, ты с природой, ты с отсталостью примирялась здесь, – нервная ничтожность такая!.. Ты уехала, старуха твоя пропала – тоже советская наседка такая – и мы

втроем, – Кемаль показал еще на Вермо и Височковского, – мы сказали твоему старушечьему совхозу: прочь, ты не дело теперь! – и не было его в одну ночь! Надо трудиться, товарищ директор, не за лишнюю сотню тонн говядины, а за десять тысяч тонн!.. Ты – девчонка еще в глазах техники!

"Отчего у нас люди так быстро развиваются? – подумала Босталоева, заново разглядывая Кемаля. – Это прямо превосходно!"

Другие рабочие, оказавшиеся на проверку бедняками, сбежавшими из умрищевского колхоза, также начали стыдить Босталоеву за ее недооценку башни, мельницы и дальнейших перспектив.

Височковский взял Босталоеву, как женщину, под руку и повел ее в башню. Босталоева молчала. Вермо глядел ей вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой. "Зачем строят крематории? – с грустью удивился инженер. – Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования."

Башня была сложена из сжатых, сбрикетированных ручным прессом глино-черноземных кирпичей и представляла собою вид усеченного конуса.

В сенях башни находилось особое стойло, – оно хоть и не имело еще арматуры, но это было то же, что электрический стул для человека, – место смертельного убийства животных высоким напряжением. Височковский и Вермо не хотели портить качества мяса предсмертным ужасом и безумной агонией живого существа от действия механического орудия. Наоборот, животное будет подвержено предварительной ласке в электрическом стойле, и смерть будет наступать в момент наслаждения лучшей едой. Внутренность башни была выложена досками в тесную пригонку, а доски покрыты слоем клеевого лака, непроходимым для электричества.

– Вы понимаете, что это? – спросил Височковский.

– Нет, я не понимаю, – сказала Босталоева. – Ведь дожди же размоют эту земляную каланчу.

– Толщина кладки земляных брикетов здесь такая, Надежда Михайловна, – объяснил Височковский, – что нужно десять лет ливней, чтобы вода смыла башню...

Вид животных, гонимых сквозь пространства пешком в города на съедение или даже запертых в неволю вагонов, всегда приводил Височковского в душевное и экономическое содрогание. Коровы, и особенно быки, слишком впечатлительны, чтобы переносить железнодорожную езду, вид городов и ревущую индустриализацию. У животных расстраиваются нервы, они высыпают беспрестанно из себя навоз и теряют съедобный вес. Сосчитано, что при езде в вагоне коровы на тысячу верст худеют на десять и больше процентов, а быки вовсе тают, тоскуя, что им уже никогда теперь не придется случаться.

Если "Родительские дворики" отправят в течение года две тысячи тонн коров, то двести, а может быть и четыреста тонн наиболее нежного мяса будет истрачено в пути, благодаря похудению животных. Кроме того, коровы могут вовсе умереть в дороге. Эти двести или четыреста тонн говядины должен сохранить электрический силос, построенный как башня. Коровьи туловища разрубаются на сортовые части и загружаются в башню. Затем небольшое количество высоконапряженного тока пропускается сквозь всю массу говядины, и говядина сохраняется долгое время, даже целый год, в свежем питательном состоянии, потому что электричество убивает в нем смертных микробов.

По мере надобности мясо накладывается в приспособленные кадушки с выкачанным воздухом и отправляется в города. В дальнейшем следует вокруг электрического силоса развить комбинат, с тем чтобы на месте обращать мясо в фарш, колбасу, студень, консервы и отправлять в города готовую еду.

У Босталоевой, после разговора с Високовским, сжалось сердце, что она еще не инженер и ей нужно излишне любить Вермо.

Високовский развил перед директором еще ряд мер, обдуманных им совместно с Вермо и Кемалем, для резкого накопления мяса в совхозе, а Босталоева молча думала о новом техническом большевизме, которому уже не соответствует ее ум.

Здесь в башенные сени вошла бывшая совхозная кухарка, не знавшая, куда теперь ей деться, когда все сломали, когда из металлических ложек мужики сделали проволоку, суповые котлы раскатали в листы, когда даже ушные сережки вынули у нее и распавили их в олово, — эта печальная, бесхозная женщина, лишенная бытового сотояния, сказала, что движется новое стадо из какого-то дальнего пункта: идите его встречать и организуйте поскорее баб из степи, потому что некому обдаивать скотину, а из нее уж капает молоко в землю.

Босталоева и Високовский вышли из сеней башни и увидели погонщика умрищевского вентиляторного вола; погонщик прибежал первым, чтобы осознать новое место своей жизни и сообщиться.

* * *

Устроив вновь прибывшее стадо на участок степного разнотравия, открытый недавно Високовским около дальнего одичавшего колодца, Босталоева возвратилась ночью в совхоз. Вермо играл на гармонии, а Кемаль плясал — с тем выражением, словно хотел выветрить из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра.

Странно и опасно было видеть костер в степной темноте, веселых людей, крылья могучей мельницы, башню и слушать, как всеобщий

человеческий голос, прекрасную музыку, всегда соответствующую намерению борющихся большевиков. Босталоева вошла в среду людей и стала танцевать по очереди со всеми товарищами, пока не перепробовала всех; только Вермо, как занятый музыкант, не мог потанцевать с Босталоевой, но зато она, двигаясь, обещала ему достать агрегат для бурения на ювенильное море, и Вермо с энергией радости начал еще лучше играть на гармонии. Один погонщик вентиляторного вола стоял в стороне, не примкнув к дружбе и музыке, но и его Босталоева взяла в дело танца, отчего погонщик весь заухмылялся и уж заранее согласен был положить всю свою силу на совхозном строительстве – настолько он мало еще видел нежности в жизни. Танцуя, погонщик нюхал подругу-директора и наслаждался своим достоинством, нужностью и равенством с высшими друзьями, а Босталоева глядела на него близко и улыбалась ему в лицо своей улыбкой серьезной искренности, своими спокойными верными глазами, и погонщик чувствовал ее легкую руку на своем плече, привыкшем к тяжести и терпению.

Глядя на танцующих, Вермо успел уже продумать вопрос и рационализации отдыха и счастья, а сам не мог победить в своем сердце чувства той прозрачной печали, которая происходит от сознания, что Босталоеву может отбить целый класс пролетариата и она не утомится, она тоже ответит ему со страстью и преданностью.

Вскоре погонщик умрищевского вола заржал от радости не своим голосом – женским басом, и танец постепенно прекратился, поскольку долгое веселье превращается уже в скорбь.

Наступила полночь; воздух начал прозябать от росы и отсутствия солнца, и всем людям, всей технической бригаде Вермо и Кемаля, захотелось спать и согреваться. Тут же стало известно, что вся теплая одежда ушла со вновь нанятыми пастухами на пастбище, на месте была только одна громадная кошма, метров десять или пятнадцать длины. Все влезли под ту кошму, а Босталоеву положили в середину, чтобы ей было теплей, и ближние соседи отодвинулись от нее, желая дать Босталоевой больше дыхания и свободы, если она будет шевелится во сне.

Наутро в совхоз приехала в таратайке Федератовна, и с ней прибыл в качестве кучера секретарь райкома Определеннов. Старушка еще издали закричала от злости, решив, что умрищевцы управились украсть без нее весь совхоз.

– Подожди ты шуметь, убогая, – остановил ее Определеннов, не терпевший никакого визга на земле, как знака бессилия. – Побольше спокойствия, бабушка, – нам ничего не страшно.

Застав под кошмой население совхоза, Определеннов стянул со спящих кошму, и они сразу проснулись, как оголтелые.

Опомнившись, видя недовольство старухи и секретаря, Вермо начал порочить естественное самотечное устройство природы и потворство этому оппортунистическому устройству со стороны администра-

ции совхоза, например, разве земляночно-землебитная и деревянная ферма совхоза не есть ненависть к технике? – Разве можно получить мясо от полуголодного, непоеного скота, бродящего в печали по пище десятки верст ежедневно? – и мы снесли в ночь всю совхозную убогость, дабы освободить мебель с утварью и взять из них гвозди, доски и прочие материалы для истинной техники, для утроения продукции совхоза!

– Он прав вполне, – с неопределенной грустью сказал Кемаль.

– Вы еще понятия не имеете о большевистской технологии, – говорил Вермо среди летнего утра, неумытый и постаревший от темы своих размышлений, – у вас нет органического ощущения техники, как первого чувства своей жизни...

Федератовна, осознав, что кто-то хотел обидеть науку, враз стала на точку яростной защиты Вермо и приветствовала речью башню и мельницу.

Определеннов смеялся на старушку и был рад, что в "Родительских двориках" под видом чувственного восторга происходит на самом деле социалистическое скотоводство, превозмогающее все существующее на свете на этот счет.

– Говори теперь ты, Високовский, – предложил Определеннов.

– Хотя я зоотехник, – сказал Високовский, желая выявить чем-нибудь охватившую его радость зоотехнического творчества, хотя бы тем, что покаяться, – хотя моя дисциплина долгое время была выражена невежественным оппортунизмом и вредительством и взглядом на зоологию, как на мягкую какую-то, тихую науку, где все гармонично и эволюционно, но я заявляю, что советская зоотехника немыслима без металлургии, без машиностроения, без электрификации, потому что только железо и огонь добудут нам воду в сухих степях, потому что лишь тонкая пульсация электричества, приближающаяся по нежности и остроте своего факта к жизненным явлениям, к зоологии, лишь она, эта пульсация, игра солнечной энергии в атомной глубине материи, как определяет Николай Эдвардович Вермо, лишь она даст нам излишний нарост мяса на костях животных, позволит нам рационально забить скот, сохранить его без потерь и отлично транспортировать. Затем я предлагаю уничтожить немедленно текучесть рабсилы...

– Как – конкретно? – спросил Определеннов, вслушиваясь с полным сердцем в слова специалиста.

– Уничтожить ее, как текучесть, как пережиток разрыва города с деревней... Нужно внести скользящую шкалу профессий, чтобы пастух был обучен строительству и мог быть плотником зимой или еще чем-либо, чтобы человек обнимал своим уменьем несколько профессий и чередовал их во времена года... Каждый трудящийся может и обязан иметь хотя бы две профессии, – наш Кемаль имеет их целых четыре, – это даст десятки тысяч экономии по одним "Родительским двори-

кам"... Да здравствует наша жизнь и наш напряженный труд для всех товарищей... как дальних, так и близких! – неожиданно кончил скромный Височковский и медленно покраснел, почувствовав свою заключительную патетическую бестактность.

– Да здравствуют наши социалистические специалисты! – громко сказал Определенное, чтобы уничтожить краску должного смущения с лица Височковского.

Но Височковский покраснел еще гуще, и все засмеялись, а Босталоева смеялась до тех пор, пока у нее не вышли слезы, блестевшие на свете солнца, как роса на черной траве ресниц. Все люди поглядели на глаза Босталоевой, а Вермо сказал:

– Я ручаюсь, что не каждый еще сумеет умереть из нас, как наступит высший момент нашей эпохи: нам тогда потребуется лишь построить оптический приемник-трансформатор света в ток, как мы сейчас строим радиоприемники, и через него к нам польется бесконечная электрическая энергия – из солнечного пространства, из лунного света, из мерцания звезд и из глаз человека... Вот какая проблема, товарищи, сидит во взоре Босталоевой, а вы видите ее глазами полового мещанства: так ведь никуда не годится!

– Глянь в мои глаза! – попросила Федератовна. – У меня там горит электричество иль потухло?

Вермо поглядел в старушечьи очи.

– Плохо горит, – сказал инженер, – у тебя бельма растут.

Федератовна сразу оценила было этот факт, как заглушенную вылазку врага, но потом пошевелила деснами и передумала.

– Пусть растут, – согласилась старуха, – я и видеть не буду, так почую. А ты научный левак!

– Погоди судить, бабушка, – сказал Определенное. – У них уже есть дела, а ты говоришь слова... Давайте, товарищи, наметим план технической реконструкции "Родительских двориков".

Здесь же, на общей кошме, был составлен перечень главных мер, а именно:

Название работы	Цель ее	Фамилия бригадира и срок исполнения	Полезный эффект и примечания
1.	*2.*	*3.*	*4.*
1. Закончить постройкой электродвигатель; установить динамо; смонтировать транмисси-	*Зимой: отопление скотных баз и рабочих жилищ, подача жара на кухню. Летом: давать силу на насос и на брикет-*	*Вермо. 2 месяца*	*300 тонн добавочной говядины. На 100 руб. топлива. Уничтожение жажды на цен-*

1.	2.	3.	4.
онную передачу, провести электрическую сеть.	*ный пресс.*		*тральной усадьбе.*
2. *Электротехнический монтаж силосной башни и убойного стойла.*	*Заготовка свежей говядины в долгий прок.*	*Височковский, консультация Вермо. 1 месяц.*	*Не менее 400 тонн мяса. При остутствии ветра питать башни следует от воловьего привода в виду малого количества тока, потребного для башни.*
3. *Пресс для брикетирования коровьей желудочной продукции.*	*Решение степной топливной проблемы.*	*Кемаль.*	*Экономия 2000 руб.,которые должны быть истрачены на покупку стороннего топлива.*
4. *Приобрести, перепроектировать, переделать два вольтовых агрегата разной мощностью.*	*Электрическим пламенем меньшего агрегата резать камень в карьерах и сваривать на месте кладки, с целью постройки цельно-литых жилищ для людей и скота. Мощным агрегатом прожигать скважины в глубину земного шара, дабы вскрыть кристаллическую гробницу материнского моря, либо вообще достигнуть богатых запасов воды — взять оттуда количество*	*Босталоева, Вермо. 3 месяца.*	*По строительству 50 тыс. руб. По малому водоснабжению 40 тыс. руб. в год.* *По большому водоснабжению (на материнском море): социалистический риск.*

1.		2.	3.	4.
		влаги, достаточное для образования постоянного моря. Параллельно бурить немедленно вольтовым огнем неглубокие водоносные скважины на всех пастбищах и зимних гуртах совхоза (малое водоснабжение).		
5.	*Изобрести и сконструировать оптический прибор для обращения солнечного света в электричество.*	*Получить энергию в степи и во всем мире из любой точки освещенной бесконечности.*	*Вермо, Кемаль, Босталоева Не менее года.*	*Установление технического большевизма в "Родительских двориках" и на всем открытом пространстве земли.*
6.	*Сконструировать животноводческий комбайн на автомобильном шасси.*	*Быстрое обдаивание отдаленных гуртов и доставка сливок на совхозную маслобойку.*	*Високовский, Кемаль. 2 месяца.*	*18 тысяч рублей в год.*

В седьмом, восьмом и девятом пункте плана назначались прочие виды работ. Всякое мероприятие по этому плану должно иметь помощь и консультацию со стороны Института Неизвестных Топливных Масс, КрайВЭО, Института Дешевой Энергии, Варнитсо, Общества Глубокого Бурения и прочих соответствующих организаций.

* * *

Через месяц или полтора в "Родительские дворики" прибыло оборудование и материалы, занаряженные Босталоевой в крайцентре, и то потому, что Босталоева сама нашла свои заблудившиеся на железной дороге грузы и привела вагоны на ближайшую станцию. Иначе бы грузы могли вовсе осиротеть, приобрести безвестное состояние и их сейчас же присвоили бы себе агенты многочисленных строек,

населявшие в то время все узловые пункты транспорта, эти агенты-снабженцы беспрерывно глядели волчьими глазами на потоки чужих грузов и только свою стройку считали действительно решающей для судьбы социализма, – поэтому они прямо удивлялись, что кого-то еще снабжают, кроме них, и способствовали превращению блуждающих грузов в бесхозное сиротство, чтобы переадресовать их себе, пользуясь суетой всеобщего строительства.

Около того же времени в совхоз приехали два инженера из края: электрик Гофт и гидрогеолог Даев. Гофт был из Института Неизвестных Топлив, а Даев – от Варнитсо и Общества Глубокого Бурения. Совместно с инженером Вермо они довели конструкторские идеи вольтового бурения до чертежного выражения и поправили различные упущения в устройстве башни, брикетного пресса и ветродвигателя.

Инженер Гофт уже не хотел уезжать из совхоза и остался в нем до окончания всех работ, а Даев и Босталоева отправились скорее в краевой город и в Ленинград, дабы найти подходящие электросварочные агрегаты; эти агрегаты были нужны для немедленного переустройства их на другую службу. Один из агрегатов должен успеть перерезать камни в карьере и сварить из этих камней жилища еще до наступления зимы.

Контора переустройства совхоза помещалась в сенях электросилосной башни, где все чертили, считали, спали и бредили от ночного воображения. Кемаль взял себе на учет такой бытовой недостаток и отправился в колхоз к Федератовне. Через четверо суток он привез из колхоза на волах шесть пустых изб, принадлежавших ранее кулакам, тем, что прятались в колодцы от старухи. Эти избы лишь в слабой степени повредились от транспорта и вполне оказались пригодными для размещения техперсонала и для ночлега технических бригад.

Инженер Вермо развернул фронт работ сразу – по всем сопротивлениям; главный же удар он сосредоточил на достройке и оборудовании электрической мясной башни, где производил монтаж лично.

Но рабочих было всего шестнадцать человек, и люди так умаривались, что не могли смыть водою свой пот и им не хватало сна для забвения усталости.

Однажды ночью Вермо сидел за столом и, скучая по Босталоевой, рассматривал ее книги. Вокруг Вермо спали люди на полу, от них пахло отработанной жизнью, их рубашки заживо сотлели на постоянно греющемся теле и рты были печально открыты, чтобы освежиться воздухом ночи и продуть насквозь свое туловище, зашлаковавшееся смертельными скоплениями немощи.

Кемаль лежал навзничь с омертвевшим видом лица; он сегодня в одиночку таскал бревна на верх башни, а вчера забивал якорные сваи для крепления ветродвигателя от зимних бурь.

В своем дыхании он плавно поднимал и опускал ребра, оброс-

шие жилами тяжелой силы, и лицо его, хотя и было покрыто печалью утомления, но все же хранило в своем смутном выражении нежность надежды и насмешку над грубой тягостью жизни, — в этом Кемаль, хотя и незаметно, но походил на Босталоеву.

"Зачем он таскает бревна, зачем он не повесил блока и не заставил вола втянуть бревно на канате? — думал Вермо в тишине большого пространства. — Зачем вообще нам труд, как повторенье однообразных процессов: нужно заменить его беспрерывным творчеством изобретений!"

Погонщик умрищевского вентиляторного вола спал вниз лицом. Он трудился по рытью земли для различных установок. Вермо решил завтра же сделать несколько конных лопат и рыть грунт силой волов или даже приспособить под это дело ветер.

Вермо не знал, есть ли у Кемаля и погонщика вентиляторного вола другая жизнь, эстетические вкусы и накопления на сберкнижке. Они были наверно безродными и превращали будущее в свою родину.

В вещах Босталоевой Вермо нашел "Вопросы ленинизма" Сталина и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким, — потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое пространство, уходящее в бесконечность времени и мира.

Читая, Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу, и все равно, даже если бы погиб в изнеможении инженер Вермо, он был бы мертвым поднят дружескими руками на высоту успеха — и уцелевшие товарищи добудут из глубин земли материнское море и свет солнца превратят в электричество.

Под утро Вермо вышел наружу. Вращающаяся земля несла здешнее место навстречу солнцу, и солнце показывалось в ответ. Но Вермо не вдумывался в это явление, вдумываясь обычно во все, что попадалось; он слишком начитался за ночь и чувствовал себя сейчас недостаточно умным. Он отошел дальше в степь и лег в нее вниз лицом с настроеньем своей незначительности.

Откуда-то из участка к Вермо подошел Високовский. Он сказал, что снял с пастбищ двенадцать пастухов в помощь техническим бригадам, а коров поручил наиболее сознательным быкам; он уже делал опыты самоохраны и самокормления стад, приучая отдельных быков к определенному поголовью коров, организуя этим шагом бычьи семейства. И что же? — быки дерутся между собой, каждый желая обеспечить для своих коров лучшую траву и водопой, а коровы мирно пасутся и полнеют в теле. Если перейти на способ бычьих семейств, то можно вдвое сократить степной штат людей.

Вермо, не слушая, глядел на Високовского.

Затем он возвратился в избу, где по-прежнему спали рабочие; но лица их, освещенные зарею, приняли торжественное выражение. Вермо понял, насколько мог, смысл революции: их мысль – это большевистский расчет на максимального героического человека масс, приведенного в героизм историческим бедствием, – на человека, который истощенной рукой задушил вооруженную буржуазию в семнадцатом году и теперь творит сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела.

Эта идея неслышно растворена в книгах, прочитанных Вермо ночью, – потому что ее нельзя услышать мелким сердцем индивидуалиста или буржуя.

В тот же день Вермо составил бригаду в семь человек и сам стал в ее ряды. Он хотел осуществить "седьмое условие" Сталина; ставку на творческого пролетарского человека, – с тем, чтобы изобретение стало способом работы, чтобы не Кемаль таскал бревна, а ветер или вол; и чтобы работа шла на смысле, а не на грустном терпении тяжести, как работает мещанин капитализма.

К концу первой десятидневки в бригаде "седьмого условия" почти не применялся черный труд – его сменили деревянно-веревочные и железные приспособления, движимые животной силой волов.

* * *

Через два месяца, уже осенью, прибыли из Ленинграда переделанные электросварочные агрегаты и другое необходимое оборудование. Одновременно с многочисленными машинами приехали Босталоева и инженер Даев.

Босталоева ехала от железной дороги через колхоз и привезла с собой смирившегося Умрищева, которого выслала Федератовна в совхоз для проверки в рабочем котле.

Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения. Он ходил теперь робко по земле, не зная, где ему место, долгие дни жил при Федератовне в качестве домашнего хозяина, чему Босталоева по невыясненной причине радовалась и смеялась на протяжении всей совместной дороги в степном фаэтоне, а Умрищев только сторонился от нее на узком месте сиденья.

Босталоева была несколько дней в Москве, в Скотоводобъединении, и привезла оттуда новость для всех рабочих: в "Родительских двориках" организуется образцовый опытно-учебный мясокомбинат. Этот вопрос был поднят крайкомом партии и теперь всюду согласован и обдуман.

Спустя еще некоторое время в "Родительские дворики" съехалось

большое число людей из Москвы и краевого центра: они должны были участвовать в организации учебного мясокомбината и быть свидетелями первого в мире бурения земли вольтовой дугой, чтобы прожечь грунт до воды.

Инженер Вермо, как только получил вольтовый агрегат, уехал с ним в степь неизвестной дорогой, взяв с собой одного Кемаля.

Возвратившись через четверо суток, Вермо установил агрегат среди новостроющейся усадьбы совхоза; запустил мотор и направил фронт сияющего, шарообразного пламени вертикально в недра земли.

Делегация Москвы и края уселись к тому времени на скамьи вокруг воющего агрегата; столб едкого газа поднялся над плавящейся породой, обращающейся в магму, затем — через полчаса — раздался взрыв и наружу вырвался вихрь пара: это пламя вошло в массу воды и пережгло ее в пар. Вермо выключил агрегат.

Каждый из бывших здесь освидетельствовал сделанную скважину: она была неглубока, около трех метров, поскольку совхоз стоял в низменности, внутренняя поверхность скважины покрылась расплавленной, застывшей теперь породой, что сообщало крепость колодцу от обвала, и внизу светилась вода. Затем Вермо и Кемаль, настроив пламя в острую форму, стали резать его лезвием заранее заготовленные самородные камни и тут же сваривали их вновь в монолиты, слагая сплошную стену, чтоб было ясно, как нужно строить теперь жилища людям и приют скоту.

* * *

В глубокую осень из Ленинграда в Гамбург отплыл корабль. На борту корабля находился инженер Вермо и Надежда Босталоева. Они имели командировку в Америку, сроком на полтора года, чтобы проверить там в опытном масштабе идею сверхглубокого бурения вольтовым пламенем и научиться добывать электричество из пространства, освещенного небом.

На берегу их провожали две фигуры небольших людей: Федератовна и Умрищев. Старушка приехала издалека, чтобы проводить Босталоеву и поплакать по ней на вечное прощание, потому что она уже не надеялась прожить полтора года: слишком активно билось ее сердце всю жизнь, и оно устало.

Федератовна была одета в шляпу, которая сидела на ее голове, как чертополох; маленький смирный Умрищев держал под руку старую женщину и вытирал глаза белым платочком от сочувствия. Он еще в колхозе полюбил Федератовну за оживленность, за открытую страстность сердца, за беспощадность ее идейного духа, и старушка,

будучи положительной женщиной, увлеклась постепенно терпеливым отрицательным старичком, так что они поженились в течение времени.

Корабль уплыл в водяные пространства земли. Вермо и Босталоева отошли от борта. Старичок и старушка остались на далеком берегу и долго плакали, глядя на горизонт, а потом приступили к взаимному утешению друг друга.

Вечером того же дня, ложась спать в гостинице, Умрищев долго кряхтел, предполагая и боясь высказаться.

– Мавруша, а Маврушь! – обратился он после томления к Федератовне.

– Чего тебе, старичок? – охотно спросила Федератовна.

– А что, Маврушь, когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света делать свое электричество, – что, Маврушь, не настанет ли на земле тогда сумрак?.. Ведь свет-то, Маврушь, весь в проводе скроется, а провода, Маврушь, темные, они же чугунные, Маврушь!..

Здесь лежачая Федератовна обернулась к Умрищеву и обругала его за оппортунизм.

ЧЕ-ЧЕ-О
(Областные организационно-философские очерки)

Пишут, что хорошо выезжать из Москвы, потому что, дескать, сразу окунаешься, во-первых, в травяную русскую природу, отдыхая душой, а во-вторых, в советские массы и строительство. Хотя писатели и пишут всегда о том, чего с них не спрашивают, — тем не менее слово печатное уважать надо: и мы поехали в город Воронеж на предмет изучения бюрократизма ЦЧО и ознакомления с массами, поселились за тремя окошками с палисадником и с цветами на подоконниках, известными от детства и с детства не имеющими имени. На окне у нашего хозяина, кроме цветов, помещался еще всесоюзный дьячок, как называют здесь радио за хрипоту его и поучительность. Хозяин наш Федор Федорович каждое утро уходил к себе в железнодорожные мастерские, а мы изучали, взяв предпочтительно в поле зрения нашего людей, а не учреждения, дабы не быть оглушенным гулом мероприятий, придерживаясь, при изучении матерьяла, статистических принципов.

Надо объяснить заглавие организационно-философских наших очерков. Были мы, изучали мы в ЦЧО — в Центрально-Черноземной Области, вновь организующейся. Це-Че-О по воронежскому говору выговорить трудно, — говорят Че-Че-О.

Город и историю его мы изучали пешком. Все вывески, где раньше было "губ", теперь перекрашены на "обл".

А пешком мы ходили по следующей причине. Трамваев в городе штук одиннадцать, примерно, на три городских маршрута. У посадок на трамваи всегда суетятся, сесть все не успевают, а трамваи ходят полупустыми. Трамваи — совершенно, как в Москве, только разница в букве В: ВКХ вместо МКХ. На одиннадцать трамваев имеется двадцать семь человек контролеров — девять человек от ГДЖ, остальные от Горсовета и прочих учреждений. В каждом вагоне едет не менее двух контролеров, кондуктор и — обязательно — милиционер, как бес-

платное приложение контролеру и кондуктору, управляющееся, в благодарность за провоз, со злостным пассажиром. Предпочитали мы ходить пешком не потому, что не испытывали затруднений от воронежских концов, где массы населения перебрасываются трамваями, но потому, что твердо установили, что со стороны ГДЖ, Горсовета, Адмотдела и прочих организаций предпринято, в сущности, все, чтобы сделать поездки людей жизнеопасными и чреватыми экономическими последствиями, т.е. приводами в милицию, штрафами и прочими ущербами для личности. Мы рассчитали статистически: московские трамвайные порядки усвоены Воронежем в кровь, но жителей в Москве больше в двадцать пять раз, трамваев – в сто раз, – и воронежцам осталась только трамвайно-административная энергия в количественном московском масштабе: число ежедневно-трамвайно-наказуемых в Воронеже равно московскому числу, – и очень редко поэтому можно проехать в воронежском трамвае, не дополучив к билету особой квитанции об уплате штрафа, либо протокола, либо нравственного оскорбления.

Мы уже приступили к исследованию "основной нашей темы о бюрократизме "Наши не хуже ваших".

Этим и объясняются свалки на остановках: кроме тройного надзора за собою, туземное население, полюбив административное благочиние, само помогает контролерам вылавливать трамвайных вредителей и добровольно устраивает давки на остановках, стоя на страже трамвайной законности.

Изучая принципы бюрократической давки, установили мы новую, раньше не бывшую здесь особенность – носить мужчинам бакенбарды. Бакенбард в Воронеже много, и все они с портфелями. Причина возникновения бакенбард необъяснима, но вид их очень напряженен. Федор Федорович, рабочий-ветеран железнодорожных мастерских, философ и наш хозяин, сказывал нам, будто в газете было воззвание Облсовета Физкультуры: "За советскую бакенбарду! Опрятная наружность есть символ идеологической устойчивости! Физкультурник, будь впереди! За новую наружность! За нового человека!".

Было ли такое воззвание или не было – это на совести Федора Федоровича, – Федор Федорович любит говорить иносказательно, – мы же при нашем изучении, обследуя газеты, ничего такого там не нашли. Нашли лишь снимки будущего здания облисполкома, будущего облпрофсовета и прочих будущих емких помещений. Мы рассматривали внимательно фотографии: нет ли в будущих камнях будущей областной архитектурной стойкости, либо отпечатков будущего ума и организационного умения. Затем в газете напечатаны были портреты туземно-областных вождей, карта новой области и заметка об аржанской фабрике грубых сукон, расположенной в Тамбовской губернии и напечатанной исключительно ради областных масштабов. Больше ничего

туземного в газете не было. Отмечалось подробно выступление тов. Терентьева в споре с архиереем. Тов. Терентьев выполнял в областном масштабе то, что тов. Ярославский делает во всесоюзном, а тов. Вольтер делал во всемирном. В остальном газета следовала Вольтеру, занимаясь всемирно-историческими вопросами, давая искренние советы французам, англичанам и китайцам, и сожалея, что впредь бывшие ее советы не приняты впрок этими странами. Судя по карте области, напечатанной в газете, область эта, по поводу которой в газете отмечены будущие здания и спор с архиереем, – размером много больше, чем Британские острова.

Федор Федорович, иносказательный человек, молвил однажды:

– Как вы думаете, приезжие люди, как надо устроить, чтобы на месте, где два колоса растут, три выросли бы? Ну, и как поступать, ежели колосьев по-прежнему два?

Мы бросили внешнее изучение облгорода, потому что первым делом мы видели всегдашнюю воронежскую пыль, переулки, свиней – обыкновенное средне-русское устройство оседлости, – и дома стояли совершенно так же, как и в губернском отношении. На подоконниках цвели герани. Бакенбарды возвращались со службы, обедали и возвращались на службу, на вечерние заседания, а после них ели на бульваре мороженое у отходников из воронежских деревень. Книжная воронежская история интересовала нас мало, по причинам нашего уважения к предмету и краткости пребывания, хотя самой истории в городе не мало. Отметим лишь странное обстоятельство этого черноземного города, – именно то, что Воронеж есть колыбель русского морского флота, обстоятельство очень поучительное для российской истории и очень характерное. Проходит тут видная от Митрофаньевского монастыря древняя дорога из Варяг в Греки – Калмиюсская Сакма, обстоятельство для нас не особо важное, ибо нечего поминать нам о варягах. Было в этих местах много разных святых, один из них, Тихон Задонский, был даже приятелем русской литературы, – приятельствовал с Федором Михайловичем Достоевским, – но и это неважно нам. Существенно отметить – опять о Петре: превратив степной город Воронеж в российский Амстердам, именно отсюда Петр людьми и приспособлениями начал водный канал, который должен был соединять Дон с Окою (Епифаньевские шлюзы живы были до 1910 г.) – Епифаньевские эти шлюзы суть прародители ныне, через двести лет после них, роемого Волго-Дона. Вот и все исторические справки. Пыль черноземная и пыль истории – вещи, ни с чем несравнимые. Еще задолго до европейской войны, несмотря на плодородие почвы, крестьянство Воронежской губернии и соседних с нею начало быстро беднеть, поставляя отходников в города и на Донбасс. Сельское хозяйство императора

завело крестьян в тупик, требовало крупной социальной и технической реорганизации. Столыпин тогда давал деревенской верхушке исход на хутора: остальное крестьянство нашло себе выход в революции.

. . . .

Наш сосед и друг Федора Федоровича, Филипп Павлович, сам бывший крестьянин, ныне электро-монтер, рассуждает:

– Исход крестьянам найден правильный – коллективы. Прямо надо заочно считать, что от удачи коллективов зависит спасение деревни, и спешить с этим необходимо надо, прямо надо сказать: положение деревни теперь бедовое. Коллективы по деревням нам сейчас нужнее Днепростроя. Не удадутся коллективы, – мужик будет спасаться в одиночку, иначе сказать, пойдет по кулацкой дороге. Каждый трудящийся есть хочет. Государство должно всякому питанию помогать, и чтобы это содействие не буксовало на бумаге, как колесо на рельсе. А опасения от переусердия уже имеются, – я ведь далеко вижу. Колхозцентр уже трудится, а кроме него – сосчитаем про себя – волостные, уездные, губернские, областные, разные там органы норовят влипнуть в колхозное строительство, – и все хотят руководить, указать, увязать, согласовать, проработать, проинструктировать, подтянуть и проутюжить. Главное руководство, я полагаю, заключается в том, чтобы не мешать безвыходному желанию мужиков к устройству своей судьбы через коллективы, – я сам мужик, я-то себя знаю. Что нужно деревне? – в первую очередь нужны – землеустройство, мелиорация и огнестойкое строительство. Агрономия, я так полагаю, – очередь вторая, особенно по теперешнему времени, когда участковый агроном еще кое-как усердствует, – а что выше участкового, – так те совсем не нужны, они все разъезжают междуведомственно, согласуют будущее и к крестьянству не относятся.

. . . .

Мы перебили себя сельскохозяйственными суждениями Филиппа Павловича, дабы малявинскими красками нарисовать черноземный пейзаж, имеющий, по существу говоря, краски в себе серые, медленные, длинные.

К сельскому же хозяйству относятся хлебозаготовки.

Видели мы хлебозаготовителей, безошибочно можно сказать, что на душах у них лежат тяжести, равные весу заготовленного ими хлеба. Народ они хороший, несчастный и молчаливый (молчаливый, быть может, потому, что на ссыппунктах неминуемо много приходится разговаривать, вплоть до тяжелого сердцу мата). Познакомились мы с молчаливым кооперативным членом правления и слышали его историю. Вызывал его проезжавший мимо в своем вагоне замнаркомторг для надлежащего подтягивания, дошел член правления до вагона, взялся за поручни – и ужаснулся тогда, а ужаснувшись, -- пригнулся

к земле и исчез в неполотых просяных полях, где и пробыл наедине с природой трое суток, не пивши, не евши. Его искали сельские милиционеры, – но разве сыщут кого эти люди, самые кроткие из всех попечителей благочиния на земле? – и член правления на четвертый день самовольно возвратился домой, съел две корчажки сметаны с хлебом и пошел в свое правление, а вагон замнаркомторга отбыл в даль по своему расписанию.

Гражданин этот – кооперативный член правления – был приятелем Федора Федоровича, забегал иной раз послушать нашего всесоюзного дьячка, и Федор Федорович, близкий к железнодорожному делу человек, проектировал часто разные способы усиления хлебозаготовок, так как до его сердца слишком все касалось.

Например. Наглядным опытом, через окна вагона, знал Федор Федорович, что еще с самой ранней весны, почти сейчас же после снега, самый главный пассажир, который едет мимо Воронежа на Кавказ, есть – отдыхающий. Уверял Федор Федорович, что эти нарицательно называемые отдыхающие, едущие по курортам, не есть ни рабочие, ни средние служащие, а явный бюрократический актив, вооруженный секретареподобными женами или женоподобными секретарями, умеющий пластическим путем фильтроваться сквозь государственные трущобы в страны, не им и не для него завоеванные в 1920 году. Так вот, Федор Федорович предлагал – перестать кормить этот бюрократический актив, не трогая пока пассива, прекратив одновременно его перевозку на юг для наращивания пластических сил, возя на его место съедобные мешки. Федор Федорович утверждал, что это поспособствует вывозу хлеба и ввозу машин из-за границы, а также и тому, что кооперативному нашему члену правления реже придется убегать со столбовой дороги социализма в просо, как прискорбно выразился Федор Федорович.

. . . .

Федор же Федорович рассказал нам о встрече в поезде, когда ездил он поднимать из-под откоса под откос свалившийся паровоз.

В Ряжске сел внимательный человек, развернул бумагу с колбасой и начал закусывать, безотчетно рассматривая пассажиров. Напитавшись, он зорко уставился в окошко и не отрывался от зрелища великорусских пространств сто верст. Тогда он обратился к Федору Федоровичу, как к железнодорожнику.

– Никак не вижу межи! – сказал он с огорчением. – Здесь сразу должны кончаться суглинки и подзолы и должна начинаться сплошная чернота почвы, именно Че-Че-О.

– Какая межа? – спросил Федор Федорович.

– Межа Че-Че-О, Центральной Черноземной Области. Она, извольте видеть, больше Англии и чуть меньше западно-европейских держав, а вот межи никак не видно, хотя на плане она ярко нарисована жирной чертой. Как же так?

Помолчали. Внимательный человек глядел в окно.

— Вы куда едете-то? — спросил Федор Федорович.

— В Воронеж — куда ж больше? — вопросом ответил внимательный человек.

— Это почему же вы так говорите — "куда же больше"? — на вопрос вопросом ответил Федор Федорович.

— А там, видите ли, организована теперь Черноземная Область, Че-Че-О. Отстраиваются новые учреждения. Еду служить. Я человек сокращенный.

— Откуда? — сочувственно спросил Федор Федорович.

— Сократили?

— Да.

— Известно — из учреждения. Я человек служащий. Мы всю жизнь служим. Десять лет я состоял беспорочно в уездной архивной комиссии, а теперь свалили все документы в подвал стат-бюро, а в городе хорошего крысомора нету. Теперь звери всю мою работу поедят. А сколько трудов на те документы положили — уму не понять! — как же? — все остатки революции в них, больше их нигде нету.

— Думаете там работу найти, в Воронеже? — спросил Федор Федорович.

— Непременно, — ответил архивариус. — Люди моего сословия должны находиться в служебном состоянии. Непременно!

Федор Федорович в тот вечер, как рассказывал нам об этом своем свидании, совершенно разохался. — Ведь вот, сукины суслики! — сколько их по советской земле ездит, службу ищет, колбасу жрет! — и смотри ты, как они в канцеляриях дела листают, как суслики рожь едят!..

Показывал нам потом Федор Федорович на улице этого внимательного суслика: устроился, вошел в свое состояние, служит, отпускает бакены, вошел в служебную схему. Федор Федорович уверен, что именно эти самые суслики такие, например, правила чинят по его железнодорожному делу: опоздал поезд на сорок три минуты, стоять ему по расписанию пятьдесят минут в Воронеже. Прицепили свежий паровоз, полазили по крышам, добавили воды в уборные, служба технического осмотра проверила рессорные тележки и простукала бандажи, — дела на десять минут, а поезд стоит единственно из-за того, чтобы отстоять свое время ради точности расписания, хоть и мог бы сократить опоздание, — стоит по регламенту, а не по смыслу.

. . . .

Видели мы областников, так сказать, строителей. Угощали они пивом москвича в столовой ЕПО, организационно обсуждали, опираясь на портфели, и пребывали в организационно-областной ярости. Многого из их разговоров подслушать нам не удалось, в силу естественного страха, который исходил к нам от них.

— Позвольте, Иван Сергеевич, — куда ж это годится! — говорил средний человек, утирая бредовой пот со лба прямо ладонью. — Надо всесторонне обсудить, как поделить нам организационно и исторически неделимое? Тамбовский край, эта культурная единица, существовал еще со времен Гавриила Романовича Державина, когда покойный был тамбовским губернатором. Тамбовский край уже тогда был государственным понятием, — а сейчас мы предполагаем северный кусок природного поценского края отхватить от Тамбова в другой округ. Извините, мы тоже пока еще губерния! — у нас есть ВЦИК! — Воронеж — это еще не Москва, это лишь губерния, и даже не из важных!

Нам показалось, что этот деятель, начав за здравие масштабов областных, заканчивал упокоем своей губернии, откуда, по всем видимостям, происходил родом и службеным положением. Другой собеседник был более областно-мыслящ, судя по его словам, в силу той причины, что происходил он из Кирсанова. На Тамбов он нападал, считая его тургеневским дворянским гнездом в вишневых садах, — но нападал и на Воронеж, отдавая дань его морскому прошлому, после которого в округе остались только одни леса местного значения; он даже не отстаивал Кирсанова, ибо вопрос Кирсанова не касался, но сообщил все же, что отапливается теперь Кирсанов не кизяком, а торфом, и в прошлом году был вырыт первый артезианский колодезь. Поскольку дело не касалось Кирсанова, патриотической ярости у кирсановца не замечалось.

— Нет, товарищи, — сказал третий, отпивая пиво. — Теперь такая эпоха, приходится все сверху донизу, снизу доверху, а также вдоль и поперек. Теперь самокритика пошла, нашего брата массы в плюшку жмут.

Величественный москвич, в честь которого пили пиво, рассудительно и таинственно молчавший, несколько оживился.

— Не совсем так, товарищ, не совсем! — сказал он. — Мы никак не привыкнем к равновесию... Я бы сейчас главным лозунгом объявил равновесие мероприятий. А то получается не самокритика, а — бичевание.

В этом месте своей речи, к слову сказать, не очень внятной и четкой, москвич предложил своим собеседникам папиросы "Герцеговины Флоры".

— Сделайте одолжение, — сказал он.

Кирсановец посмотрел на коробку хозяйственным глазом, понюхал табак и спросил:

— А сколько же стоит такая одна папиросина?

— Пустяки, — сказал москвич, — шестьдесят пять копеек пачка.

— Ага. Без малого три копейки штука. У нас на три копейки можно пучек купырей купить, можно полбуханки хлеба съесть, можно стакан молока выпить, за две папиросины тебе лапоть сплетут, а другой

сам на дороге найдешь, – сказал кирсановец, выводя товарную стоимость трех копеек; еще раз осмотрел папиросу и сладко закурил.

– Это же и есть равновесие, о котором я говорю, – конкретно увязал москвич. – Я, допустим, с моими газетными статьями зарабатываю четыреста-пятьсот, а вы – сто. Но вы живете зато не в Москве, и мои четыреста, если подсчитаешь, равны вашим семидесяти рублям.

– Значит, деньги у нас в пять раз дороже? – спросил тамбовец.

– Вот именно, – ответил москвич.

– Я вот курю папиросы Бокс, – сказал кирсановец, – значит, мой Бокс выходит по вкусу, что и ваши Герцоги, либо даже лучше?

Москвич мягко поправил кирсановца, молвив учтиво:

– Одни папиросы брать, конечно, не следует. – Вы примите во внимание квартиру, ванну, отопление... Надо брать всю массу товарной продукции и учитывать по среднему...

– Не учтешь! – сказал грустно кирсановец. – Ванн, например, у нас не полагается, ходи в две недели раз в баню! У нас в одной волости пять лет подряд двадцать тысяч десятин без обложения налогом существовали, а, говорят, город Лондон меньше этой площади. Значит, у нас город Лондон, вроде бы, стоял, а мы его и не видели... А найди виноватого, – виноватого учесть еще труднее, чем пропавшую площадь: та хоть травой зарастет, отговорка есть, что из-под травы не было видно.

– Равновесия нет, – молвил москвич, точно накладывая свою резолюцию на все местные беды. – Вы раньше сказали о самокритике, что масса на учреждения давит... Вот вам и результат! Разве это требуется? Никакое учреждение при таких условиях работать не может, потому что учреждение должно руководить. Не правда ли? – А иначе придет какой-нибудь болван в учреждение синдиката и скажет: вас я сокращаю, а себя сажаю, ступайте в молотобойцы... Ну, и что же будет? – будет хуже, будет плохой кузнец, только и всего... нет, надо самокритику ввести в здоровое русло – придать энергии народа плановый темп!

– Русло тоже дело ненадежное, – сказал кирсановец, представив себе, должно быть, русло речное. – Реки иной раз размывают свои русла.

Тамбовец вернулся к теме в масштабах областных.

– Я полагаю, с областью мы явно спешим, – заявил он горестно. – Границы округов определены наспех, губернские и уездные работники далеко не все получили назначение на новые областные посты, а понаехало уже много иногородних. И вообще, в общем и целом, будущее рисуется далеко не в четких перспективах.

Кирсановец молвил раздумчиво и печально:

– Говоря по совести, у меня ум за разум зашел... Крестьяне будут пахать по-прежнему, как и в губернском масштабе, рабочие не бросят работать оттого, что границы округов не уточнены. Это верно. Наше де-

ло – руководить. Это тоже верно... Раздумаешься иной раз... Настоящее руководство – всегда, конечно, помощь. Ну, а бюрократическое иной раз обращается – прямо во вредительство, я на своей шкуре знаю. – Он помолчал и сказал твердо. – То руководство, которое обращается за помощью к массам, само, следственно, способно помочь рабочему и крестьянину раздавить живой силой жизненные затруднения и прямо вести по дороге революции. В этом, я полагаю, и есть весь смысл самокритики.

Собеседники его посматривали неодобрительно.

Мы свое пиво выпили и оставили столовую ЕПО, а затем, не имея плана прогулки, пошли к Митрофаньевской площади, откуда видна Сакма Калмиюсская. Лежала перед нами степь, и явно чувствовалось нам, что это не простые уже губернские поля с перелесками местного назначения, а – областные. Рожь, по подсчетам областных организаторов, расти будет гуще. Пусть растет! – и на густую рожь найдутся едоки!..

. . . .

Вечером однажды, в тишину российского дождика, валяясь на своих койках, разговорились мы о трамваях, о бакенбардах, о любви. Разговоры наши были скучны. Не могли мы не согласиться друг с другом, что впечатления наши совпадают совершенно, – о том, что служащая провинция уж очень много больше, чем следует, заражена бюрократизмом. Служащий человек ведет себя и на воле, как на службе. Он недоверчив, он одинок, этот чиновник, очень часто он хищен, он непрерывно боится за свою судьбу и занимается самоспасением. С ним трудно ехать в трамвае, с ним не о чем разговаривать, ибо он хитрит и готов подставить ножку, жене и детям с ним неимоверно скучно. Мы раздумались о женах этих мелких бюрократов, души которых повреждены бакенбардами. Жена и дети не знают, какие почки настояли сердце их отца и мужа, они чувствуют на себе всю гнетущую, мрачную, иссушающую силу этого родного сердца, которое и на детей своих смотрит затравленными и зайцем, и волком одновременно. Мы договорились до того, что бюрократизм есть новая социальная болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей. Он вышел за стены учреждений, он отнимает у нас друзей, он безотчетно скорбен, он сушит женщин и детей.

На печаль нашу зашел к нам Федор Федорович, бодрый человек. Послушал нас, сказал, как всегда, иносказательно:

– При диктатуре пролетарьята, я так полагаю, при советской власти дорог бояться не надо. К социализму надо идти – по пути трудному, а которые себя облегчают в дороге, – грош тому цена. При пролетарскй диктатуре всякие организации есть дело второстепенное и низкое. Первостепенно надо: делать вещи, покорять природу и – самое главное

– искать дороги друг ко другу. Дружество – и есть коммунизм. Он есть как бы напряженное сочувствие между людьми.

. . . .

Приходили к нам изредка гости – не наши друзья, но друзья Федора Федоровича, местные мастеровые, как любят называть себя рабочие. Каждый день беседовали мы с Федором Федоровичем. Он говорил иносказательно, но точно. Чтобы понимать Федора Федоровича, надо глядеть ему в глаза и сочувствовать тому, что он говорит, тогда его затруднения в речи имеют проясняющее значение. На подоконнике у нас, рядом с дьячком, росли кроткие цветы, не имеющие названия с детства.

Федор Федорович говаривал часто:

– Мастеровой в наши дни стал более скрытным, прямо углубленный и задумчивый человек. То ли это развитие личности, то ли печаль. В старое время общая безнадежность делала нас в своем кругу веселыми и самозабвенными. Теперь у молодых рабочих есть надежда и есть какая-то внутренняя неуверенность в ней.

Часто спрашивали мы Федора Федоровича: как он думает – одна область лучше четырех губерний?

К Федору Федоровичу изредка приходил гармонист. Федор Федорович не знал тогда, чем получше угостить гармониста, заслушивался его и волновался от музыки.

– Рабочий человек, – говаривал Федор Федорович, – должен глубоко понимать, что ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нарочно нельзя. Песня дороже вещей, она человека к человеку приближает. А это трудней и нужнее всего.

И однажды, слушая музыку, Федор Федорович сказал по поводу области:

– Вот видишь, чем надо людей смазывать. А вы говорите – организация. Она, понимаешь ты, как мучной клей. Помнишь, им газеты к заборам приклеивали, и ни черта не держалось. Нравоучительность из нас куда-то пропала. В газетах пишут, что наша губерния вся запаршивела и оскудела. А по-моему, она не оскудела, а ее объедали лет сто подряд. Областью тут не поможешь.

Слушая гармонию, выпивали мы иногда по рюмке водки, и Федор Федорович всегда в таких случаях говорил:

– Сердечность у нас пропала, необходимость оскудела. Раньше ты мне дорог был, а теперь и умрешь, – все равно.

Федор Федорович рассказывал о своих цеховых делах. – Живого его языка упомнить невозможно, примерно, он таков:

– Например, так. Он человек молодой, а я уже почти старик. Он приходит в цех, ему дают работу. Я тридцать лет мастеровой, я не грубо знаю дело, а он мальчик, работать не умеет. – Ну, кого послать, скажем, в организацию? – посылаем его, нам он в работе не нужен,

работать он не научился, а таких, как я, – я это по душам говорю, положа руку на сердце, – таких у нас во всех мастерских двадцать человек, мне от работы отойти невозможно. Вот он там и делает власть за нас, а что он понимает? Юноши, попавшие в цех, никому не дороги, да и им самим не дорого работать за станком. Ими и затыкают всякие выборные должности, а потом они сами делаются профессиональными руководителями, без всяких прочных товарищеских связей с мастеровыми. Понятно, что многие молодые рабочие так и смотрят на завод, как на исходную точку своей будущей общественной карьеры, как на временное, бросовое ремесло. Он поработает год, много два, по всем документам – он рабочий, и тогда начинает идти во всякие высокие двери профпарт- и соворганизаций. А там наверху, в руководящих сферах, молодому человеку представляется теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью. Ну, и многие получают эти блага взамен равнодушия мастеровых, оставшихся при станке. Я своего станка ни на что не сменяю, потому что не уважаю ни имущества, ни должности. А другие и хотели бы, да не всем же властвовать, ко власти лезут которые верткие, а всем не вместиться. А отсюда и скрытность и задумчивость рабочего советского человека.

. . . .

Музыку Федор Федорович и его друзья слушали с упоением, еле сдерживая свои героические и жалобные чувства. Худой гармонист пил водку, играл, сохраняя серьезность и глядя на слушателей пустыми глазами, прислушивающимися к музыке. Однажды он сыграл шимми, Федор Федорович и Филипп Павлович и шимми прослушали с волнением. Они не знали, не видели этого танца шелкочулочных ног и бесполых тел, которые из этой музыки сделали провокацию акта размножения. Музыка им предстала очищенной от пошлости, они принимали ее, как музыку людей, а не бесполых ног, как искреннюю тонкую пьесу. По их лицам было видно, что эта музыка для них кажется нежною и энергической, грустью безымянного близкого человека, заблудившегося в сложном устройстве мира, среди людей, холодных, как сооружения. Гармонист кончил играть и выпил для организации утомившейся души. Мы рассказали Федору Федоровичу правду этого мотива, о той пошлости, которая оплетает земной шар этой музыкой. Федор Федорович смутился на минуту за свои героические чувства, но скоро оправился, оправдав себя:

– Все можно изгадить, – сказал он. – Может, музыкант и не знал, что сделают из его песни. Я так думаю: любое искусство сделано по модели любви. Ну, а ты сам знаешь, что можно из любви сделать, какую мерзость, а чище любви – ничего необходимее нет.

. . . .

Однажды, тоже после музыки и в дождливый вечер, был такой разговор. Заскрипело вдруг радио, Филипп Павлович сказал Федору Федоровичу:

– Федя, заткни ты этого хрипатого дьявола, мы не к обедне пришли, а к тебе.

Мы говорили о предприятиях, которые работают над объединением пролетариата. Рабочие подсчитали, что они громадны, дорого стоющи, многочисленны. Федор Федорович утверждал, что в них, вместо горячего клея, употребляется остуженный кисель, либо мучная пыль на воде, какими нельзя приклеить к забору газеты. Именно тогда Федор Федорович говорил о том, что у рабочих пропала нравоучительность. Филипп Павлович показал газету, там нарисованы были два пролетарских сапога, которые хотели растоптать попа и толстого лавочника.

– Не понимаешь? – спросил Филипп Павлович. – Поп, – ну, какой он нам нынче враг? – соринка! Лавочник, – да его и давить-то нечего: открой лишний кооператив, и лавочнику – гробик еловый!.. Другие враги теперь родились, вон, например, на шахтах и еще в прочих губерниях.

– А вот еще – грызун, помнишь, рассказывал, в поезде черту искал, – вставил Федор Федорович.

– Во-во, и он, – подтвердил Филипп Павлович, – и прочая бюрократическая бакенбарда, и которые по Кавказам ездят.

Филипп Павлович перебил себя, обратившись к нам:

– Ты вот что объясни нам, – сказал Филипп Павлович. – Почему это все в массы швыряют – прямо, как кирпичи летят. Книгу, пишут, – в массы, автомобиль – в массы, культуру – тоже, значит, в массы, то есть, к нам, к одному месту, дьячка этого, – он кивнул на подоконник, – тоже в массы, критику – опять давай в массы. От таких швырков голова отлетит.

– Радио же вон дошвырнули!

– Радио – это да, только никто не швырял, я сам сделал на свои деньги. А вот другие вещи, на которые государство деньги тратит, до нас не долетают, на воздухе от трения сгорают, вроде, как звезды, небесные кирпичи.

Федор Федорович подтвердил:

– Зашвыряли массы, прожевать некогда.

Филипп Павлович закончил свою мысль, спеша опередить Федора Федоровича:

– А ведь это только сверху кажется, – крикнул он, – только сверху видать, что внизу – масса, а на самом деле внизу отдельные люди живут, имеют свои наклонности, и один умнее другого.

Наутро после вечера разговоров о массах Федор Федорович рас-

сказал странный свой сон. Сон этот волновал Федора Федоровича, говорил он сокрушенно. Он видел во сне, что он ехал по своему участку. И вдруг ему представилось, что он наяву видит, как под колесами поезда проскакивают границы губернии, области, РСФСР, уездов, райвиков, сельсоветов, районов тяготения к ссыппунктам и элеваторам, сферы действия уполномоченных по расширению площади посевов сахарной свеклы и ликбезов, профсоюзные линии, разграничивающие скрещивающиеся влияния райкомов, райуполномоченных, у-ов, губов, обл-ов, и разных инструкторов и прочих деятелей, организующих труд и область. Федор Федорович видел тысячи линий, жирных, тонких и пунктирных, которые легли на землю так, что из-под них не было видно травы.

Федор Федорович был удивлен своим сном.

– Поди ж ты! – говорил он. – Ведь ежели издать генеральную карту организационного устройства области, чтобы не упустить чего-либо из памяти, чтобы любой ходок и ездок мог бы свободно узнать, под чьим непосредственным воздействием он находится в данную минуту своего жизненного существования, – так такую карту и издать невозможно, бумажный планшет, чего доброго, пришлось бы склеить размером в самою область. Иначе невозможно будет разместить все линии организационного размежевания, невозможно будет четким образом уместить все линии прямых и косвенных соподчинений, планирующих увязок, инструктирующего обслуживания и всего прочего необходимого. Линии, чего доброго, совпадут, лягут одна на другую, и получится сплошная тьма чернильная, в которой не разберешь, кто кем руководит, кто умнейший актив и кто отсталая масса, подлежащая срочной культурной революции... И поди ж ты! – видел я еще во сне архивариуса, – он не пойдет на надел землю пахать или на завод к станку, – он сидит в областном планшете, в щели, сукин сын, – в государственной, заметь, щели, – и чувствует себя спасителем революции!..

. . . .

Выехали мы из Воронежа степным скучным вечером, в тот час, когда в учреждениях кончили уже передвижку столов и распланировку отделов под областные органы, с тем, чтобы назавтра служащим людям сесть иначе, во имя нового режима писчего дня.

– Федор Федорович, – спросили мы последний раз, выполняя наше задание. – Что же, нужна вам область или нет?

– Не обязательно, – ответил Федор Федорович. – Все вторичное нужно, когда первая необходимость есть.

– А это что такое? – не поняли мы.

– Это, как тебе сказать, – когда мне и тебе отлично, и ребенка пустить к людям не страшно. А второе тебе будет хлеб с закуской. А третье – область твоя. Надоел ты мне с ней.

— А отчего нам станет отлично?

Федор Федорович стал втупик, ответил не сразу.

— От хороших людей, наверное? — полувопросом ответил он. — Наделать всего побольше, чтобы никто не серчал, — богачей ведь у нас нету, никто не отымет, — и надо уважать друг друга, не бояться. Трудовой человек должен напряженно сочувствовать другому обремененному. Надо уважать человека. Это самое главное. Тогда и труд будем уважать.

Над областью лежала тьма, ровесница сотворения мира, когда мы уезжали от Воронежа, где в столах учреждений покоились до утра сложные планы и бумаги для вдумчивого выполнения. Федор Федорович провожал нас, ехал на линию исправлять изгадившийся мост. Поездной машинист, поскучав на ненужных стоянках, гнал поезд. По сторонам пути стояли сигналы уклонов и подъемов, пакетажные столбики и прочие ориентировочные знаки, но никакой машинист сроду не справлялся с этими знаками: машинист чувствовал ногами работу паровозной тележки и настороженной душой безошибочно угадывал координату работы машины, скорости, времени, расписания, тяжести поезда и состояния тормозов. Старые паровозные машинисты по виду небрежны: если бы служилый суслик видел машиниста, как он рассеянно ведет поезд и, не глядя, шурует рычагами, то он непременно оставил бы поезд, вылетел бы из него пулей, боясь безусловной гибели, — и он потребовал бы приставить к машинисту контролера, чтобы контролер "наблюдал". С машиной надо держать себя просто, искренне и самому быть не глупее ее, машина не терпит к себе неопределенных любительских отношений. Все эти мысли пришли Федору Федоровичу. Колеса вагонов отбивали свой речитатив, там проскакивали границы губерний, уездов, виков и прочего благоустройства. И Федор Федорович сказал:

— Революция, — как паровоз. И революционеры должны быть машинистами.

Поезд подходил к станции, тормоза втугачку схватили разыгравшиеся колеса, под вагоном колыхнули вагон стрелки и крестовины станции.

— Вот, слышите, — сказал Федор Федорович. — Ведь если бумажного суслика пустить на паровоз, он поставит там наблюдателя к машинисту. Он втугачку зажмет колеса, из-за бюрократической предосторожности, — колеса революции, и при нем, чего доброго, до социализма доедешь немного позже того момента, когда сам паровоз, ведущий историю, сгорит от форсированной работы, таща поезд волокитой на зажатых тормозах.

Федор Федорович сошел с поезда на этой станции. Мы распрощались с ним, расцеловавшись. В нашем вагоне ехали люди с Кавказа, накапливавшие там пластических сил. Нам казалось, что им следовало

бы слезть на какой-либо черноземной станции, чтобы отправиться в колхоз на уборку урожая и для выделки кирпичей для новой огнестойкой деревни. Но они ехали – никак не в деревню, нагретые кавказским солнцем.

Ямское поле.
20 сентября 1928.

Написано совместно с Борисом Пильняком

14 КРАСНЫХ ИЗБУШЕК

(ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЭДВАРД ИОГАНН-ЛУИ-ХОЗ, ученый всемирного значения, председатель Комиссии Лиги Наций по Разрешению Мировой Экономической и Прочей Загадки, 101 года от рождения
ИНТЕРГОМ, спутница Хоза, 21 года
ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ, лет 45
НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ
УБОРНЯК ПЕТР ПОЛИКАРПЫЧ
ЖОВОВ МЕЧИСЛАВ ЕВДОКИМОВИЧ — писатели
ФУШЕНКО ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ
СУЕНИТА, председатель колхоза "14 Красных Избушек", 19-20 лет
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТОРОЖ
ФИЛИПП ВЕРШКОВ, колхозник в возрасте
АНТОН КОНЦОВ, лет 30, говорит и действует с безошибочной четкостью
ЛЕТЧИК
КСЕНЯ СЕКУЩЕВА, колхозница, 28 лет
БЕРДАНЩИК, колхозный сторож
РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК
ГАРМАЛОВ, муж Суениты, демобилизованный красноармеец
ГРУДНЫЕ ДЕТИ, Суениты и Ксени
НЕСКОЛЬКО ПАССАЖИРОВ С ПОЕЗДА ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Действие происходит в 1931 году

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Фойе московского вокзала. Цветы, столики, транспоранты с приветственными надписями на иностранных языках. Несколько лозунгов по-русски. Один большой транспорант гласит: "За здорового советского старика! За культурную, еще более плодотворную старость!"
Гудки далеких мчащихся паровозов. Звуки настраивающегося духового оркестра где-то на перроне.

На сцене НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ; он бдительно оглядывает помещение и пере-

ставляет цветы на столиках для их лучшей эффективности. У дверей ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНЫЙ СТОРОЖ.

Входит ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬ.

Приветствующий Деятель. Здравствуйте, товарищ. Когда прибывает поезд с границы?

Начальник станции. Экспресс "Могучая птица" должен прибыть через две минуты. По сведениям диспетчера опаздывает на четыре минуты, но я думаю – механик нагонит.

Приветствующий Деятель. Я с вами согласен: теперь в работе транспорта наступила должная четкость!

Долгий, далекий, разрываемый скоростью и встречным вихрем воздуха, жалобный свисток мчащегося паровоза.

Начальник станции (*официально*). Транс.-советский экспресс "Могучая птица" Столбцы–Владивосток прибывает на первую платформу! В литерном люкс-вагоне следует господин Иоганн-Луи-Хоз, почетный член Стокгольмской Академии, Председатель Комиссии по Разрешению Мировой Экономической и Прочей Загадки при Лиге Наций. (*Глядит на часы на своей руке*) Опоздание: полминуты! Механик – товарищ Живаго!

Свисток паровоза – уже в пределах вокзала. Звуки работающих тормозов. Остановка. Гул публики. Приветствия. Музыка – туш. НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ, подтянувшись, уходит на перрон.

Приветствующий Деятель стоит в сосредоточенной позе.

В фойе входит ИОГАНН ХОЗ об руку с ИНТЕРГОМ. У Интергом в руках маленький чемодан. Позади их являются три писателя: УБОРНЯК, ФУШЕНКО и ЖОВОВ. Затем – НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ.

Приветствующий Деятель встречает Хоза. Представляется ему и его спутнице, говорит краткую фразу приветствия по-французски.

Хоз. Здравствуйте, здравствуйте, здорово живете! Ну, как дела с вашей пятилеткой? Надеюсь, четко?!

Приветствующий Дёятель. Пардон. Вы говорите по-русски? Вы знаете наш трудный язык пролетариата?

Хоз (*раздраженно*). Знаю, знаю... Ну, конечно же, знаю! Я уже забыл, чего я только не знаю. Русский, индусский, мексиканский, еврейский, астрономию, психотехнику, гидравлику... Мне сто один год, а вы – мальчик! (*Раздражаясь все более*) Вы – мальчик!! – осмеливаетесь со мной говорить по-французски.

Приветствующий Деятель. Простите. Спутница ваша также потрудилась над русским языком?

Хоз. Мальчик!! Не раздражайте моего духа на этой раздраженной земле! Интергом, скажите ему по-русски ваши пустяки.

И н т е р г о м. Долой антискирдовальное настроение!

Х о з. Как? Что такое? Отличница, вы знаете по-русски лучше меня!? Повторите сейчас же: вы же видите – я мучаюсь!

И н т е р г о м. Долой антискирдальное настроение! Я читала газеты советов, я выучилась. Антискирдальное настроение – по-русски это печаль. Это аннюи, это не социализм.

Х о з. Это сверкающе!

И н т е р г о м. Вы ошибаетесь: это блестяще.

Х о з. Пардон: блестяще!.. Что я такое, если стал забывать чепуху?.. Мальчики, девочки, дети, дайте мне трость из могильного креста, чтобы я мог уйти на тот бедный свет!

И н т е р г о м. Вы, дедушка, контр-дурак.

Х о з. Как? Что такое?

И н т е р г о м. Вы контр-дурак: значит – умница.

Х о з (*сосредоточенно*). Неизвестно, Интергом.

Н а ч а л ь н и к с т а н ц и и (*Хозу*). Поздравляю вас с благополучным прибытием. Желаю вам счастливого путешествия по этой самой великой и пока еще самой чуждой вам стране.

Х о з. Самой чуждой?! Ошибаетесь: все страны для меня одинаково чужды и бесприютны. Благодарю вас.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ прощается и уходит.

П р и в е т с т в у ю щ и й Д е я т е л ь. Приветствую вас, господин Иоганн Хоз, великий философ слабеющего капитализма, блестящий мастер оппортунистических ухищрений, и желаю вам...

И н т е р г о м. Стать младенцем, дошкольчатником, пионером. милым другом нового света.

П р и в е т с т в у ю щ и й Д е я т е л ь (*к Интергом угрюмо*). Верно лишь отчасти. (*Хозу*) Приветствую вас в еще неизвестной гигантской стране – от имени трудящихся людей, делающих счастье и истину себе и вам. Мы счастливы встретить вас в своем общем доме!

Х о з. Сомневаюсь, чтобы вы были от меня счастливы.

Краткая пауза.

Я никого еще не делал веселым и счастливым. (*На Интергом*) Вероятно – только ее.

И н т е р г о м. Да, Иоганн, от вашей любви я ужасно счастлива!

Х о з. Знаю, знаю... Вы же вперед женщина, потом человек.

И н т е р г о м. И вперед, и назад – я всюду женщина.

Х о з. Вы контр-умница, Интергом... Ах, мадемуазель девочка, мне давно уже надоело жить в своем организме, в этой жизни, в тос-

ке текущих фактов: дайте мне молочка! Мне скучно, мадемуазель, от сознательных чувств... Молочка!!

Интергом (*вынимает из своего чемодана бутылочку консервированного молока и подает ее Хозу*). Кушайте, дедушка, вы не волнуйтесь, вы не думайте: у вас так слаб желудок... Ну, ради Бога, дедушка, не оставляйте капель на дне, я вас люблю.

Хоз (*отдавая бутылку, допив молоко*). Теперь чего-нибудь химического, едкого!

Интергом (*роясь в чемоданчике*). Вот – неизвестно что... Что-то химическое, невкусное такое.

Хоз. Давай его, мне надо глотать! (*Берет таблетку из рук Интергом и глотает* (*Затем враз обращается к Приветствующему Деятелю*) Где здесь социализм? Покажите его сейчас же, меня раздражает капитализм!

Приветствующий Деятель. Отдельные элементы нашего строя я вам в состоянии предъявить немедленно... Пожалуйста! Сейчас же направо будет комната матери и ребенка...

Интергом. Благодарим вас. Предъявите нам, ради Бога, комнату для самых бедных старичков и что они там делают!

Приветствующий Деятель (*в затруднении*). Простите, она ремонтируется...

Хоз. Не спешите, Интергом. Здесь нет старичков, здесь люди умирают вовремя. (*К Приветствующему Деятелю*) Вождь, товарищ, остановите ремонт комнаты старичков: она у вас будет пустая.

Приветствующий Деятель. Я преувеличил, господин Хоз. Этой комнаты у нас нет.

Хоз. Не смущайтесь: я знаю, что вы понемногу... (*Бормочет невнятно*). Но ведь мы вовсе подлецы. Компривет! (*Ко всем спутникам.*) Товарищи, подумаем так. У них есть комната матери и ребенка – это пустяки. У них мало стариков и нет для них комнаты – это успех. Не ошибаюсь ли я, господа?

Три писателя (*напряженно, одновременно, почти вместе*). Привет! Доблесть! Ажур! Гут! Принципиально! Мерси!

Приветствующий Деятель. Вы глубоко ошибаетесь, господа! У нас есть лозунг: "За здорового советского старика! За культурную, еще более плодотворную старость!" Прочитайте! (*Показывает на лозунг на стене.*)

Интергом. Иоганн, большевистские старички тоже любят женщин, как ты?

Хоз (*указывая на Интергом*). Поцелуйте вон ее в щеку. Она заведует моими чувствами.

Интергом подставляет свою щеку, раздув ее изнутри, а Уборняк вежливо прикладывается к ней.

Х о з. Сомневаюсь.

И н т е р г о м. А если они догонят и перегонят?

Х о з. Тогда ты уйдешь к ним, а я женюсь на юной комсомолке — моложе тебя.

И н т е р г о м. Это ужас, Иоганн!

Х о з. Это моя техника, Интергом. Вы ее знаете?

И н т е р г о м. Ах, вполне, Иоганн. Мое тело прогрессирует от вашей старости.

Х о з. Оно и увядает также, Интергом. Я говорю о вашем теле. А мой опыт приобретает рациональность.

П р и в е т с т в у ю щ и й Д е я т е л ь (*смущенно*). Господин Хоз, вас ожидает наша страна.

Х о з. Да, да, сейчас мы отправимся в русское пространство, на воздух, в зеленую рощу, на колхозную печку нового мира, в природную чепуху!..

П р и в е т с т в у ю щ и й Д е я т е л ь. Господин Хоз, для вас давно заведены моторы. Разрешите узнать ваш курс!

Х о з. В безвестность истории, в Азию, в пустоту Востока... Мы хотим измерить светосилу той зари, которую вы якобы зажгли.

У б о р н я к. Могу я узнать у господина всемирного мыслителя его точку зрения на какой-либо всемирно-исторический предмет?

Х о з. А вы кто такой — вы трудящийся?

У б о р н я к. Я прозаический великоросский писатель Петр Поликарпыч Уборняк. Я надеюсь, что вы знаете мои книги: "Бедное дерево", "Доходный год", "Культурнейшая личность", "Вечно-советский" и прочие мои сочинения?..

Х о з. Не надейтесь: я не знаю ваших книг.

У б о р н я к. Народам известна моя международная деятельность по обороне моей родины...

Х о з. Простите мое невежество. В чем выразилась эта ваша деятельность?

У б о р н я к. В момент угрозы интервенции со стороны Англии — я женился на знаменитой англичанке. В эпоху японской угрозы — я обручился с японкой из древнего рода.

Х о з. Благоразумно. Интервенция, как известно, не состоялась — ваша заслуга неоценима. Но на ком вы женились в гражданскую войну?

У б о р н я к. На образованнейшей дочери почтенного русского генерала.

Х о з. Отлично. Вы, господин Уборняк, совсем неглупый человек — для дураков.

У б о р н я к. По добрейшему обычаю моей родины, по сердечнейшему дружелюбию нашей наиблагороднейшей и наиблагодарнейшей отлично-превосходной страны — разрешите обменяться поцелуем, дабы получилось у нас это культурно и исторически!

Приветствующий Деятель. Вам, господин Хоз, желают представиться еще два писателя: господин-гражданин Мечислав Жовов и Геннадий Фушенко.

Хоз. Скорее, пожалуйста. Мне нужна действительность, а не литература.

Мечислав Жовов медленно подходит почти вплотную к Хозу и молча, несколько застенчиво улыбается.

Интергом. Иоганн, отчего у него лицо счастливого корнеплода? Я забыла его по-русски.

Фушенко. Это российский овощ, мадемуазель.

Железнодорожный сторож (*у дверей*). Тыква! Какой овощ?! Эх ты, Мордовцев, Камо грядеши!

Интергом. Счастливая тыква!

Пауза. Жовов молчит.

Приветствующий Деятель (*Хозу*). Он говорить не может: у него десять человек иждивенцев. Но он вам рад.

Фушенко (*тихо, но настойчиво*). Господин Хоз, я член правления. Я пишу рассказы из турецкой жизни...

Хоз не замечает Фушенко. Пауза полного, коснеющего недоумения.

Уборняк (*оттирая Фушенко*). Многоуважаемый господин Хоз, какая загадка судьбы привела вас в далекую Россию, чтобы сопутствовать и споспешествовать революции?

Хоз. Не загадка, молодой человек. Жизнь загадочна лишь в семнадцать лет, но в двадцать она уже сладка. В тридцать – трудна. В пятьдесят сомнительна. А в сто лет – жизнь есть жульничество, и тогда она превосходна. Жизнь несерьезна, мой мальчик. Если бы она стала серьезной, она бы исчезла...

Приветствующий Деятель. Может быть, господин Хоз выскажется более научно о цели своего путешествия в страну строящегося социализма?

Хоз. Научно?! Не раздражайте меня! Я приехал сюда веселиться, я еду по пустяку!

Уборняк (*торжественно*). Вы ошибаетесь, господин Хоз. У нас в стране, на одной шестой суши, где...

Фушенко. Господин Хоз, я...

Хоз. Не притворяйтесь серьезными, господа. Вам хочется рассмеяться в своей стране, а вы стараетесь мыслить! Смейтесь и сочувствуйте!

Ф у ш е н к о. Господин Хоз! Я орга...

Х о з. Хорошо. Пишите рассказы. Играйте в свою славу.

Шум поезда, вошедшего в вокзал, гул толпы пассажиров. Уже по этим звукам ясно, что пришел обыкновенный поезд дальнего следования.

Несколько будничных пассажиров входят по ошибке в зал на сцене, но железнодорожный сторож выпирает их обратно. Два пассажира, однако, успевают миновать сторожа и пройти через сцену с мешками. Третьим пассажиром, спокойно и нечаянно прошедшим мимо сторожа, является СУЕНИТА. Через плечо у нее висят ее вещи, связанные узлом на плече; за спиной мешок с сухарями и железная кружка, спереди – книги, обвязанные веревкой. Суенита – смуглая, юная женщина, она сейчас утомлена дорогой и грязна. Она оглядывает людей и обстановку удивленными, немного грустными глазами.

Х о з (*наблюдая Суениту*). Какое бедное творение природы!

С у е н и т а. Мы не богатые... Где тут уйти на Казанский вокзал? Мне нужно ехать в пустыню.

Х о з (*неподвижно разглядывая ее*). Как тебя зовут, Божие созданье?.. Куда ты спешишь отсюда, советское дитя?

С у е н и т а. Суенита. Я не дитя, я председатель пастушьего колхоза Красные Избушки. Я еду домой на Каспийское море.

Х о з. Какое чудо жизни – ребенок правит деревенским царством! Откуда же ты едешь, беззащитная моя?

С у е н и т а. Я не беззащитная – у нас колхоз, у меня муж в Красной Армии. Я в Ленинград ездила, библиотеку в премию получала.

Ф у ш е н к о. Товарищ председатель, сколько у вас обобществлено хозяйств? Не активничают ли кулаки? Нет ли мелких прорывов в организационно-хозяйственном укреплении? Не нужно ли срочно послать в ваш колхоз ликвидационно-прорывочную бригаду писателей? Я член культбригады...

С у е н и т а (*задумчиво*). Писателей?.. А они умные?.. У нас четырнадцать красных избушек. У нас не было чтения, все уж прочитали, у нас в колхозе читают вслух по ночам. Лампа горит, стекло треснуло от огня, а я читаю, и все думают около меня, а кругом темно, слышно, как шумит Каспийское море. Книги все прочли, стали неинтересны, нам было скучно жить с одним своим умом. Мне дали тогда в премию библиотеку, что я трудодни прекрасно сосчитала. А книги хотели прислать, только не прислали – все нет и нет: у бюрократизма не болит социализм. Я поехала сама, взяла и везу – не знаю теперь, где Казанский вокзал, где билеты берут без плацкарты.

П р и в е т с т в у ю щ и й Д е я т е л ь. Вот перед вами, господин Хоз, небольшое существо социализма.

Х о з. Огромное, дорогой мой. Весь Божий мир скрылся в этом

бедном существе. (*К Сuените.*) Дайте мне вашу руку, счастливая моя!

Суенита несмело подает Хозу свою руку. Хоз целует ей руку.

С у е н и т а. Плюньте лучше. У меня рука сейчас грязная. Руками ведь не целуются, а только работают и обнимаются.

У б о р н я к. Она санминимум проходила.

С у е н и т а. Да, я санитарка и детей умею принимать.

Х о з. А рожать вы не пробовали?

С у е н и т а. Успела уже.

И н т е р г о м. Хотите одеколона для рук?

С у е н и т а. Так себе. Не хочется. Где Казанский вокзал?

Ф у ш е н к о. Разрешите, я вам билет возьму без всякой очереди!

С у е н и т а. А разве можно? Там люди в очереди стоят, это против закона, я за кило пшена людей наказывала.

У б о р н я к. Можно, голубушка. Он возьмет без очереди. Он и живет без очереди — его очередь давно прошла, а он живет себе по-культурному! Геня, давай поцелуемся!

Ф у ш е н к о. Давай, Петр Поликарпыч!.. (*Целуются.*)

И н т е р г о м (*Суените*). Хотите молока?

С у е н и т а. Я в колхозе его пила. До свидания. Я пойду в очередь билет покупать — боюсь, не достанется. Чего те двое целовались? Неприличные какие!

Х о з. Погодите... Я еду с вами — разрешите пожилому человеку!

С у е н и т а. Вы старый. У нас лесу нету: если умрете — гроб не из чего делать. Мы вас в песок положим.

Х о з. Я согласен. До свидания, господа! Пишите сочинения, приветствуйте, встречайте поезда дальнего следования, будьте здоровы!..

Хоз и Суенита направляются к выходу.

И н т е р г о м (*бросаясь вслед*). Иоганн! А где же я буду жить? Иоганн! Здесь чужая страна, я умру без тебя, Иоганн!

Х о з (*приостанавливаясь*). Ну, дальше что? Ну, раздражай, раздражай меня! Выпускай из тела пустяки!

И н т е р г о м (*припадая к Хозу*). Иоганн, ты исчерпал своей любовью всю мою молодость...

Х о з. Да, исчерпал. Я же мужчина, Интергом!

И н т е р г о м. Не бросай меня сразу! Выпей своего молочка, съешь чего-нибудь химического — уйдем в отель, забудемся... Возь-

ми меня в пустыню, я засохну по тебе в Европе. (*Плачет.*)

Х о з. Умирают от любви и живут в пустыне – только ангелы, Интергом... Ты женщина, ты в пустыню не поедешь. Сегодня же ты будешь улыбаться...

С у е н и т а. Старичок, там во все колхозы поезда уйдут. Мы останемся.

Х о з. Сейчас. Сейчас все организуем, бедные мои!

И н т е р г о м (*в слезах*). Где же ты станешь пить молоко, есть порошки и пилюли. Кого ты будешь теперь любить? Я изучила тебя, я чувствовать привыкла, а теперь надо забывать!

С у е н и т а. Я его буду кормить из своей сумки. У меня сухари и корки есть.

Х о з (*к Уборняку*). Господин писатель! Интергом – голландская фламандка, хотя и родилась в России. Я считаю полезным улучшить нравственно-политические отношения между вашей родиной и Голландией. Возьмите Интергом под вашу любовь и покровительство. Сделайте одолжение голландской королеве!

И н т е р г о м. Ах, Иоганн! Я так грустна сейчас! Ну, поцелуй мне руку!

Х о з. Успокойся, Интергом: ты знаешь, что жизнь все равно несерьезна. Прощай, мое бедное тело! (*Целует Интергом в лоб и оставляет ее, отходя к Сueните.*)

У б о р н я к (*к Интергом, предлагая ей руку*). Сударыня, разрешите предложить вам культурную дружбу и гостеприимство! Мой дом открыт всей Европе!

С у е н и т а (*Хозу*). Пойдем скорее, дедушка, в нашу деревню, у меня ребенок там плачет.

Х о з. Пойдем, Божье созданье. Дай мне сухарик пососать из твоего мешка.

С у е н и т а. После. Сядешь в вагон – тогда и будешь трескать.

П р и в е т с т в у ю щ и й Д е я т е л ь. Господин Хоз, вас ожидает "Бьюик". Мотор все время горячий, машина дежурит для вас.

Х о з. Остановите его. Я начинаю теперь согреваться сам – моторы пусть остынут.

Уходит с СУЕНИТОЙ.

У б о р н я к (*ведя под руку Интергом*). Вы отлично и серьезно заживете у меня в доме, моя славная и милейшая госпожа Интергом.

Все расходятся. Уборняк берет Интергом за обе руки.

У б о р н я к. Ах вы, моя голландка! У вас же чудесная гидротехническая родина! Мы с вами романы будем писать и – очерки!..

У меня дома собака Макар есть, вот зверь обрадуется вам!

Интергом (*улыбаясь*). Да, господин Уборняк, я люблю романы... И Макаров я тоже люблю — они мне нравятся!

Уборняк. Голубушка, дайте мне попить этого хозовского молочка!

Интергом вынимает из своего маленького чемодана бутылку молока и подает Уборняку.

Интергом. Ну, пожалуйста!

Уборняк (*выпив молоко*). Культурная была привычка у этого научного старичишки!.. Послушайте, превосходнейшая моя, как же вы жили с этим ветшайшим старичком?..

Интергом (*улыбаясь*). Ах, господин Уборняк, жизнь ведь так несерьезна!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Край низкой плетневой огорожи; оголенные колеблемые ветром ветви отощалого дерева; далекий шум Каспийского моря.

За плетневой огорожей деревянная пристройка избы — в виде большого крыльца или сеней. Там стоит стол для занятий.

Вся эта обстановка занимает правую часть сцены.

Слева видна даль, уходящая в смутное пространство. Спереди левой части стоит столб с советским гербом и надписью: "СССР. С-х пастушья артель 14 Красных Избушек. Высота над уровнем моря 19,27 м. Средн. год. колич. осадков 140 мм. Душ — едоков 34. Председ. С.И. Гармалова".

В средней части сцены стоит *чучело*, устроенное из глины, соломы и различной ветоши. Чучело похоже на сурового человека, ростом в полтора человека. Правая рука чучела высоко поднята в неопределенной угрозе. Вечер.

Приходят ХОЗ и СУЕНИТА из дальнего пути. Суенита несет те же вещи, что и на вокзале в Москве. Они останавливаются. В колхозе не слышно ни одного человеческого голоса.

Суенита (*прислушивается*). Не слышно никого. Чучело какое-то поставили! Должно быть, людей не хватает!..

Краткая пауза.

Мы дошли, дедушка... Ты видишь — это наш пастуший колхоз. Мы здесь овец кормим и рыбу ловим понемножку. Давай переобуемся в чистое.

Садятся на землю, Суенита начинает переобуваться.

Х о з. У меня нету ничего чистого. Я так посижу и отдохну от своего умозрения.

С у е н и т а (*переобуваясь*). Ну, посиди, поскучай, а потом ночевать на печку пойдешь.

Вдалеке, где-то за колхозом, заплакал грудной ребенок; тихо проговорил что-то женский человеческий голос.

Х о з. Кто там заплакал у вас, в ваших социальных полях?

С у е н и т а. Это наши дети играют в яслях.

Х о з. А я слышу, что плачут.

С у е н и т а. Напрасно ты слышишь.

Снова слышится далекий плач ребенка.

Х о з. Вот опять тоскует чей-то мелкий голос.

С у е н и т а. Это один мой ребенок плачет – он по мне скучает, он родную мать давно не видел... Отвернись, я соски свои оботру – сейчас пойду кормить его грудью. (*Обтирает соски на своих грудях. Хоз глядит на грудь Суениты, не отвернувшись.*) Ты видишь, как молоко скопилось!

Х о з. Вижу.

С у е н и т а. Напрасно ты видишь.

Х о з. Устал я шагать по неопределенной земле! В цветах, в слезах и в пыли живут люди, а я, старик, нахожусь при них свидетелем. Чем же это все кончится, бедные мои?

С у е н и т а. Ну что, дедушка, понравился тебе наш эсесер? У нас ведь все может случиться, чего только захочет наше сердце!.. Что ты говоришь – кончится?

Х о з. Да, мне ваш эсэсер понравился: кругом противоречия, а внутри неясность... Я говорю: когда же кончится наше дыхание в этом пустом пространстве и мы обнимемся в общей могиле! Когда же, девочка?

С у е н и т а. Мы – никогда, а ты скоро: ты же дедушка-старичок, ты сохнешь уж! (*Переобувшись, вставая.*) Ну, обутка готова... (*Кричит в колхоз.*) Антошка! Ксюша! Дядя Филя!.. Мы пришли! Ксюша, неси мне моего мальчика скорей! (*Более тихо.*) Я соскучилась вся. (*К Хозу.*) Дедушка, ступай в колхоз, там на печку ляжешь, у кого топилась, и там накормят тебя. Когда я приберу горницу, я тебя позову.

Х о з. Кормиться я не люблю. У вас есть что-нибудь химическое?

С у е н и т а. У нас колхозная аптека в ящике есть. Съешь порошок!

Х о з. Пойду съем. (*Уходит.*)

Суенита выходит на крыльцо избы и складывает там свои грузы.

С у е н и т а (*разбирая принесенные книги*). Скорей бы только его увидеть. Маленькое, теплое тело и всегда оно пахнет вкусным чем-то... Почему-то так тихо стало в колхозе!.. (*Зовет.*) Ксюша, Ксюша! Неси мне моего мальчика!

Всюду тихо. Краткая пауза.

Скоро я еще рожать буду – мне так нравится, когда из меня выходит что-то горячее, жалкое и плачущее такое, бедный комок моей жизни. (*Зовет.*) Ксюша!!. Где же кто-нибудь! Где мой ребенок и весь колхоз?

Тихо является ФИЛИПП ВЕРШКОВ.

В е р ш к о в. Здравствуй, товарищ председательница! С прибытием тебя, с достижением здоровья и с прочими делами успеха! (*Подает руку Сueните.*) Видала в центрах-городах хороших наших людей, передала им наше почтение, или промолчала?

С у е н и т а. Передала.

В е р ш к о в. А как их здоровье?

С у е н и т а (*во время диалога – постепенно переодевается в другое чистое платье, исчезая на момент в избу и возвращаясь оттуда*). Ничего. Они велели тебе сказать – пусть побольше трудится, поменьше брешет на руку врагу.

В е р ш к о в. Да неужели же, Суенита Ивановна?! Иль им и про меня донесли сводку настроения? Ну, теперь я громыхну! Теперь я вполне – всеми костями своими!

С у е н и т а. Дядя Филя! А в колхозе что – всю траву собрали? Я шла – стогов не видела! Свезли нашу заготовку в Союзмясо?

В е р ш к о в (*смущенно*). Не управились еще, Суенита Ивановна!

С у е н и т а. Что же вы, черти! Я же вам наказывала! Ты чего глядел? На что мы тогда здесь государству нужны? – пусть лучше тут море будет, а не люди: в море – рыба...

В е р ш к о в. Море?! Вопрос этот интересный, Суенита Ивановна... Каких-то ты жизненных книжек привезла?.. Когда будешь население знакомить?

С у е н и т а. Где Антошка? Ксюша куда девалась?

В е р ш к о в. А они побираться на море пошли – мертвую рыбу по берегу искать, а Антошка даже лопух приступал жарить и лепешки печет из овечьего желудочного добра. Нам харчиться нечем стало: баранины нету.

Суенита. А овцы наши колхозные?! Дядя Филя!!.

Ход диалога начинает ускоряться и ускоряется все более.

Вершков. (*поспешно, задыхаясь горлом*).Ты слушай меня, Суенита Ивановна... Я как общественность, я от лица всех самых ударных и сознательных... Ты только слушай меня: я тебе наговорю реально, убедительно в высшей степени — тут бантик был...

Суенита. Какой бантик такой? Говори мне скоро!

Вершков. Я тебе говорю сокращенно, арифметически, вроде Совнаркома и Цекубу: бе - а - не - те - ке — белогвардеец-антиколхозник! Федор Кириллыч Ашурков — бантик! Ты его еще раскулачивала перед второй большевистской, и он теперь явился...

Суенита. Ты убил его?

Вершков. Нипочем! Это он меня треснул трижды по горбушке, а Антошку они сапогами мяли, кирпичами по сознанию в голову били, но ведь кирпичи-то мягкие, они же без обжига, они саманные, и Антошка воскрес без ущерба...

Суенита. В голову по сознанию?! А вы что́ здесь сознавали тогда?

Вершков. А мы сознавать не поспевали, Суенита Ивановна, — их цельных семеро бантиков было! Они из темной степи пришли, а у берега наш колхозный корабль рыбачий стоял — "Дальний свет". Тут же мы с Антошкой находились — весь гурт гнали купать от паразитов, всю сумму нашего имущества, а прочий народ бродячий колодезь рыл вдалеке — не видать и не слыхать!..

Суенита. Ну, скорее! Ты говоришь так долго, как будто молчишь!

Вершков. Они гурт наш овечий на корабль колхозный загнали, один баран только остался, а избушку живьем на берег уволокли, вместе с оконными стеклами, и на баркас погрузили, а потом уехали в испуге на парусе... Случилось ужасное явленье упущения!

Суенита. А солонина, а хлеб где наш общий, который в мешках залатанных лежал? Говори мне враз!

Вершков. Враз я не могу — мне психа в горле мешает. А солонина, а бедняцкое зерно наше, которое в мешках залатанных лежало, тоже в море на баркасе нашем поплыло — на тот берег империализма...

Суенита. А почему же вы кулаков побить не могли? У тебя револьвер есть! Значит, вы за них стоите? Кто трус, тот теперь подкулачник! Вы мелочь — сволочь, ничуть не большевики! Проверить все надо, чтобы сердце у каждого биться стало, а не трусить!..

Суенита сбегает с крыльца.

В е р ш к о в (*спокойно*). Да то нет, что ли? Конечно, проверить надо! Культработа мала среди нас, вот что я тебе скажу. А револьвер вынимать опасно было – его отымут!

С у е н и т а (*кричит*). Ксюша!

Г о л о с К с ю ш и в б л и з и. Ау-у!

В е р ш к о в (*тихо*). Это ведь трагедия!

К с е н я (*бережно обнимает Суениту*). Суня моя приехала...

С у е н и т а. Ксеня! Как же вышло? Почему избушка наша пропала, всех овец уворовали, дети плачут?..

Пауза; подруги стоят обнявшись.

Там старик явился со мной – пускай кормят его на мои трудодни.

К с е н я. Сказала уж, травяную тюрю сидит хлебает, два порошка из аптеки съел.

С у е н и т а. Вкусней тюри у нас ничего нет?

К с е н я. Нету. Бантики уворовали все.

С у е н и т а. Ксюша! А ты все время кормила моего ребенка, у тебя не пропадало молоко?

К с е н я. Не пропадало.

С у е н и т а. Ну, принеси мне его поскорей, я сама его хочу кормить, а то груди распухли.

К с е н я (*вскрикивая*). Горюй по ним, Суенита: у нас с тобой нет детей!

С у е н и т а (*не усваивая*). А как же нам быть-то? А почему ты не горюешь?

К с е н я (*сдержанно*). Я своего отгоревала. (*Теряя сдержанность.*) Не мило мне, жутко мне, ветер качает меня, как пустую, я в Бога верить хочу!

С у е н и т а. Ксюша! Бога нету нигде – мы одни с тобой будем горевать... (*Томясь и сдерживаясь.*) Что же мне с му́кой моей делать теперь – ведь нам жить нужно и жить неохота!.. Куда вы закопали моего мальчика?

В е р ш к о в (*поспешно, задыхаясь в горле*). Суенита Ивановна, ты разреши мне, чтоб я выразился наконец! Я все знаю, я давно стою наготове!

С у е н и т а (*горюя и медленно плача*). Дядя Филя, зачем вы колхоза не сберегли, зачем вы ребенка моего схоронили?..

В е р ш к о в. Как так схоронили?! Ничто! Ты не плачь по нем, не горюй, наша умница, он плывет сейчас спокойно по Каспийскому морю – в руках классового врага!

С у е н и т а. Не тревожьте меня! Дядя Филя, где наши дети?..

В е р ш к о в. Нет никакой информации!.. Ты слушай меня! Бантик Федька Ашурков, когда напал на наши избушки, так он сперва не

расчухал добра – и поволок одну избу к берегу. А в избе той наши ясли были, и там спали – на религиозный грех, будь он проклят! – твой мальчишка да Ксюшкин сосунок. Я тут бросился на банду, но меня ударили какой-то кулацкой тяжестью, я так и сел на свой зад; спасибо, хоть сесть на что было...

Суенита. Дядька Филька, почему же ты детей не отнял у них?

Вершков. А что дети? Я овец старался отбить – не детей. Дети – одна любовь, а овцы – имущество. Ты детей тоже не переоценивай, ты баба не слабая – нарожаешь!

Суенита. Уйди прочь от нас!..

Плачут грудные дети в глубине колхоза.

Суенита (*забываясь*). Ксюша! Наших детей несут!

Ксеня. Колхозницы с берега ворочаются. Боятся теперь дома ребят оставлять – с собой таскают, а ребята от голода орут.

Суенита. Принеси мне чужого ребенка, я кормить его буду и ночевать с ним лягу потом. Возьми у Серафимы Кощункиной...

Ксеня. Ну, ты очень-то не блаженничай! Сейчас принесу... (*Уходит.*)

Суенита (*зовет*). Антоша! Антошка!

Голос Антона. Дай и мне управиться! Я близко нахожусь – в пределах!

Приходит ХОЗ.

Хоз. Благодарю вас за гостеприимство. Я вкусно напитался какой-то пустынной травой.

Суенита. Неначем. Завтра барана будешь есть. (*Зовет.*) Антошка!

Голос Антона. Обожди: я ветер смерю. Воздушные пути республики должны быть безопасны!

КСЕНЯ приносит ДВУХ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ. Одного отдает Суените, другого оставляет у себя.

Ксеня. Давай чужих кормить, а то молоко в голову бросится, от горя помрешь. (*Уходит, баюкая ребенка.*)

Суенита (*разглядывая ребенка*). Почему у него такое скучное лицо?.. (*Дает ему в рот свою грудь.*) Он не сосет молока из моей груди!

Хоз. Положи его на землю, Суенита. Твой ребенок, наверное, хочет умереть.

С у е н и т а. Он один останется – на всем свете, без нас и без жизни!

Х о з. Не тоскуй, Суенита. Ты зачала его, шутя, веселясь и задыхаясь, зачем же раздражаешься теперь? Это несерьезно... Что тебе один ребенок! Ты качаешь в своих бедрах, как в люльке, целое будущее человечество. Подойди ко мне!

Далекий, невнятный гул летящего аэроплана.

С у е н и т а. Я не слышу тебя, старичок. Мне трудно сейчас.

Приходит АНТОН, обвязанный на голове тряпками от полученных ранений.

С у е н и т а. Антошка! Бери коня. Скачи в район к телефону – кричи в ГПУ на Каспийское море. Чего раньше не гнались за кулаками?

А н т о н. Съедобную пищу из всякого брачного праха организовали: нервничать некогда было! Тем более, все равно бдительность на границах у нас сугубая – никто не уплывет!

Усиливающийся гул: летит аэроплан.

С у е н и т а. Аэроплан летит! Антошка, пусть он спустится, мы на нем кулаков догоним!

А н т о н (*глядя в высоту*). Спущу! Я враз спущу! Никогда на машине не летал! Великая техника, все сердце гремит, так и хочется крикнуть – вперед!

Х о з. Ты сигналов не знаешь.

А н т о н. Я член Осоавиахима. Я зажгу костер и пущу дым государственной опасности, а тебя надо арестовать: ты мой ум рассеиваешь!.. (*Исчезает*.)

Х о з. Спит твой ребенок.

С у е н и т а. Спит мой мальчик. (*Укрывает ребенка и кладет его в сенях на лавку*.) Все теперь спят – на земле и на море. Только один далекий ребенок кричит сейчас на нашем маленьком корабле... Он меня зовет, он без защиты там! Я в воду брошусь, я уплыву к нему в темноте...

Х о з (*приближаясь к Суените*). Не шуми, девочка, наша судьба беззвучна. (*Обнимает Суениту и склоняется около нее*.) Я тоже плакать с тобой хочу и тосковать около твоей нищей юбки, у пыльных ног твоих, где пахнет землею и твоими детьми. (*Обнимает ослабевшую Суениту и держит в объятиях*.)

Далекий стихающий гул удаляющегося аэроплана.

Целый век грусти я прожил, Суенита. Но теперь я нашел твое маленькое тело на свете, теперь я тоскую по тебе, как бедный печальный человек. Я хочу смирно зарабатывать свои трудодни.

Суенита (*слегка гладя Хоза*). А ты живи с нами до смерти в пастушьем колхозе и радуйся помаленьку. Поедешь в район и сдашь курс на счетовода.

Входит АНТОН.

Антон. Промчался в высоте без остановки! Но я еще подкараулю: они летают тут часто по великому маршруту. Буду ходить и сигналы жечь из огня всю ночь! (*Уходит.*)

СУЕНИТА уходит в сени и склоняется там над спящим ребенком. Хоз подходит к плетню. Он стоит молча небольшое время. Вечер стемнел в ночь.

Хоз. Жульничество! (*Маленькая пауза.*) Какое всемирное, исторически-организованное жульничество!.. И ветер, дескать, как будто грустит, и бесконечность обширна, как глупое отверстие, и море тоже волнуется и плачет в берег земли... Как будто все это действительно серьезно, жалобно и прекрасно! Но это бушующие пустяки!

Суенита (*из сеней*). Дедушка, с кем ты напрасно разговариваешь?

Хоз. Ах, девочка, Суенита, это жульничество! Природа не такая: и ветер не скучает, и море никого никуда не зовет. Ветер чувствует себя обыкновенно, за морем живет сволочь, а не ангел.

Является АНТОН и проходит.

Антон. Никто не летит. Одна тьма на свете, и море шумит.

АНТОН уходит. СУЕНИТА идет в избу, возвращается с зажженной лампой и садится за стол заниматься.

Суенита. А почему вы такой умный? Может, вы тоже — так себе старичок!

Хоз. Я не умный. А жил сто лет и знаю жизнь от привычки, а не от ума.

Суенита. А кто такие жулики, почему их не расстреливают, чего они думают?

Хоз. Они думают, как и я: мир существует по поводу одного пустяка, который давно забыт. Они обращаются поэтому с жизнью, как с заблуждением, — беспощадно... Дочка, иди я тебя поцелую в голову.

Суенита. Почему?

Хоз. Потому что я тебя люблю. Мы ведь оба обмануты... Не раздражай меня!! Когда два обманутых сердца прижмутся друг к другу — получается почти серьезно. Тогда обманем мы самих обманщиков.

Суенита. Не хочу.

Хоз. Почему не хочешь?

Суенита. Не люблю тебя.

Хоз. Молочка!! Дай мне молочка! Где моя Интергом?

Суенита. У нас молока для тебя нету — детей надо кормить... Иди, дедушка, трудодни считать — я запуталась.

Хоз. Иду, девочка. Займемся пустяками для утомления души.

Суенита. Это не пустяки. Это наш хлеб, дедушка, и вся революция.

Приходит Антон.

Антон. В воздухе никто не летит! Буду инвентарь проверять. Надо стараться что-то делать. (*Уходит.*)

Хоз идет к Суените.

Хоз. Где мои очки? Где, ты говоришь, вся революция?

Суенита. Очки ты у своей любовницы в сундуке оставил. Ты в одних штанах к нам приехал, без куска хлеба. Вот очки нашего пастуха лежат, — носи теперь их... (*Меняясь.*) Слушай, дедушка Хоз!

Пауза. Слышен шум моря. Темная ночь.

Опять мне скучно стало. Сердце мое болит, и телу жить стало стыдно.

Хоз. Ничего: твое тело неплотно сидит на твоей душе, оно потом прирастет. (*Надевает очки со стальным оборудованием, увязывает их за ушами, садится на место Суениты и читает ведомости.*) Зачем считать? Ну, зачем считать цифры, когда все в мире приблизительно?.. Суенита, полюби меня своим печальным бессознательным сердцем — это единственная точность в жизни.

Суенита. Наоборот: я вас люблю сознательно!

Хоз. Сознательно!.. Сознание — это светлый сумрак юности перед глазами, когда не видишь пустяка, господствующего в мире.

Суенита. Сознание — это ум. Раз не понимаешь, то молчи.

Хоз. Сознательная моя... Я рад, когда не понимаю.

Суенита. А я тогда скучаю... Считай скорее, чтобы к утру была раздаточная ведомость: ты мне расчет с колхозниками задерживаешь! Чтобы все было ясно каждому — нам неясности не надо... Я

скоро вернусь! (*Берет закутанного ребенка с лавки и идет с ним.*) Холодно стало, пойду согрею его, где печка топилась. (*Уходит.*)

Х о з (*один*). Мне все ясно. Но я хочу неясности. Неясность! Я давно потерял тебя и живу в пустоте ясности и отчаяния.

Стук молотка в колхозе; визг напильника. Эти звуки повторяются и в дальнейшем.

(*Считает на счетах по ведомости. Вдруг бросает считать*). Пусть они будут счастливы приблизительно! Все равно – всякий счет и учет потребует потом переучета. (*Пишет по ведомости.*) Прохору Берданщику – десять килограммов: ты, Прохор, траву собирал без усердия, к советской власти относишься косо... Ксении Секущевой – хороша ты, Ксения, Божье дыхание, наживай себе силу в тело – тебе сто килограммов баранины, не считая шерсти. Антону этому – Антошка!! – тебе целый центнер: ешь говядину! Ты траву сеял посредством ветра, два колодца вырыл – оба сухие стоят, ты море меришь для Академии Наук, спектакль поставил о топоре и добился уяснения хозрасчета всеми колхозниками... Летит там аэроплан или нет?

Г о л о с А н т о н а. Нету ничего – тьма, пустые стихии шумят!

Х о з (*считая*). Скащу! Скащу! Скащу со всех наполовину. Шестнадцать лет с коммунизмом возятся, до сих пор небольшой земной шар не могут организовать. Схоластики! Я штрафовать вас буду!

Г о л о с А н т о н а. Штрафуй нас, товарищ всемирный академик! Бей трудоднем по психозу масс!

Х о з. Нельзя, Антошка... Карл Маркс говорил мне в середине прошлого века, что психоз пролетариату не нужен.

А н т о н. А ты знал Карла Маркса?

Х о з. Ну как же не знал!? Ну, конечно же, знал! Он всю жизнь искал чего-либо серьезного и смеялся над текущими пустяками всех событий.

Г о л о с А н т о н а. Ты врешь, научный человек! Маркс не смеялся над нами – он любил нас вперед навсегда, он плакал над гробом Парижской коммуны и протянул дорогу своего умозрения за горизонт всемирной истории! Ты брось здесь свои кругозоры, ты пойми нас – или мы тебя поймем!

Х о з (*считает*). Серафиме Кощункиной и ее мужу, тому же Кощункину, – по нулю, ничего, два нуля.

Приходит АНТОН.

А н т о н. Ты чего раздражаешь меня своим энным пониманием каждого предмета? Ты эффект жизни смазываешь мне перед глазами!

Х о з. Блаженны бормочущие! (*Считает по ведомости.*)

А н т о н. Мы еще не блаженные, мы трудящиеся, а ты что здесь психуешь по-жуткому?

Х о з (*не отрываясь от занятий*). Тебе чего, малолетний?

А н т о н. Психани по-жуткому – тебе говорю! Из чего сделан весь мир – из атомов или нет?

Х о з. Из психующего пустяка!

А н т о н (*мучительно*). Значит, и атому жутко! Пойду море мерить и гири проверять, а то в мире как-то плохо реально – надо его с точностью организовать!

Х о з. Антошка! Зачем ты чучело это поставил – три трудодня истратил! Расточительство!

А н т о н. Пугать классового врага! Чучело больше человека и страшней, а человек пускай трудится, нам его не хватает.

Х о з. Но классовый враг не испугался.

А н т о н. Поскольку чучело мертвое, то нет – нисколько. Это Филька Вершков указал мне: сделай чучело, сторожа не надо. Стали оставлять избушки без человека, ушли все колодезь рыть, а классовый враг набежал... Пойду скорей трудиться! Аэроплана нету, темнота стоит. (*Идет со сцены.*)

Навстречу Антону идет СУЕНИТА с ребенком.

А н т о н. Не спит?

С у е н и т а. Нет, он бредит. Холодно везде, печку никто не топил, а мать его от голода спит равнодушно.

Х о з. Суенита, что ты носишь это дитя: пусть оно умрет. Или мало в тебе любви, чтобы рожать их без жалости?

А н т о н (*Хозу*). Я вот как дам тебе сейчас – так ты из башмаков вылетишь вверх! Ты у нас на все свои детали разлетишься – от удара пролетариата!

Х о з. Неверно, Антошка!.. Что мне пролетариат? Он же моложе меня! Я родился, когда пролетариата еще не было, и умру, когда его не будет! Пролетариат сам изуродуется, если вдарит в мои жесткие кости!

С у е н и т а. Аэроплана нету?

А н т о н. Нет... Давай я отнесу его. В корзинку – и там покачаю. (*Берет ребенка из рук Суениты и уходит.*)

С у е н и т а. А ты сосчитал раздаточную ведомость?

Х о з. Сосчитал.

С у е н и т а. Дай я проверю.

Х о з. Не проверяй, Суенита: ведь овцы твои не в пастушьем колхозе, а в руках классового врага.

С у е н и т а. Ты бедный, дедушка! Ты не знаешь сугубой охраны наших границ... Хлеб наш священный возвратится в наше тело.

Бледный рассвет. Далекий гул аэроплана. Суенита прислушивается. Пауза.

(*Кричит.*) Антошка! Аэроплан к нам летит! Зажигай сильнее сигналы! Обожди меня! Я избу зажгу! (*Убегает.*)

Голос Антона. Я уже вижу все и принимаю максимальные меры!

Пауза. Приближающийся гул самолета.

Хоз. Спешат всякие случайности. Надо итог подводить.

Сильный красный свет: загорается изба в колхозе, подожженная Суенитой. Стихающая работа близкого снижающегося самолета. Пауза. Приходят ЛЕТЧИК и АНТОН, за ними является Ф. ВЕРШКОВ.

Антон. А где Суенита Ивановна?

Вершков. Сейчас явится. Крышу зажгла на избушке, никак не потушит.

Вбегает СУЕНИТА.

Летчик. (*Суените*). Вы – председатель?

Суенита. Вы же видите, что я!

Летчик. Слушаю. Я водитель машины сельхозавиации 42-07. Шел по маршруту на рисовый совхоз. Приземлен огневыми сигналами. Товарищ Антон сообщил мне о необходимости погони за бандой кулаков. Я согласен сделать разведку над морем, но мне нужен проводник для опознания вашего рыбачьего судна.

Суенита. Летим скорее со мной!

Антон. Я тоже лечу. У меня сердце от радости рвется!

Летчик. Двое?! Ну, ладно. Давайте скорей! (*Уходят. Суенита оборачивается с пути.*)

Суенита (*Хозу*). Дедушка, береги колхоз, ты меня любишь. (*Уходит.*)

Хоз. Лети, бедная птичка. Я буду бдительный.

Остаются Хоз и Ф. Вершков.

Вершков. Ну вот мы и хозяева с тобой, Иван Федорович! Давай теперь распоряжаться.

Хоз. Распоряжаться? Я тебе распоряжусь! Ступай вперед трудиться!

Вершков. Это верно, Иван Федорович, я пойду. Жесткое руководство нам необходимо! (*Уходит.*)

Свет от горевшей избы потух. Серый скучный рассвет. Рев мотора отлетающего аэроплана.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Внутренность правления колхоза. Портреты, лозунги. Сельскохозяйственные животноводческие плакаты. Стенгазета. В углу свернутое красное знамя. Стол со счетами. Лавки. Одно окно, оно закрыто. Ночь под утро. Горит лампа. За столом ХОЗ в очках, сильно обросший и дремучий.

Х о з. Ночь! Тишина! Люблю, когда не слышно никаких стихий! Когда раздается одно дыхание человека! (*Слушает, под окном храпит человек.*) Социалист Филька Вершков храпит. Целый стог травы один собрал — сутки работал, лунным светом пользовался. Десять трудодней придется ему вписать. Но он же мнимый человек — запишу ему четыре трудодня.

Входит КСЕНИЯ, сильно похудевшая.

К с е н я. Бери весточку. (*Достает из-за кофты письмо и дает Хозу.*) Утром кольцевая почта подбросила, кольцевик говорил — еле сыскали тебя. Читай теперь.

Х о з (*оставляя без внимания письмо*). Я давно ничего не читаю.

К с е н я. А может, интересно!

Х о з. Нет. Не интересно, Ксюша! А ты забыла, что твой ребенок плывет сейчас по Каспийскому морю!

К с е н я. Нет, не забыла, Хозушка, нипочем не забыла! Как живой, как милый — так и стоит перед глазами. Самой есть нечего, а груди молоком набухли... И-их, только усну — забуду!

Х о з. Ну хорошо — мучайся, это прекрасно. Я тебе напоминаю, чтоб не забыла. А наряд — мешки штопать — ты перевыполнила?

К с е н я. Выполнить — выполнила, а перевыполнить не успела. Руки от горя болят, я уж и плакать не могу, а только вылуплю глаза и гляжу, как мертвая рыба...

Х о з. Ксюша! Бедное грустное вещество, пойди сюда. Дай я тебя обниму и поглажу! (*Ласкает Ксеню.*)

К с е н я (*прижимаясь к Хозу*). Дедушка Иван, ты ученый, ты добрый, скажи — как мне жить теперь, помоги мне отстрадаться...

Х о з. Не плачь, Ксюшка! В детстве ты тоже плакала над разбитым пузырьком, над потерянным синим лоскутком, — и горе твое было таким же печальным. Теперь ты плачешь о ребенке. Я тоже плакал когда-то. У меня были четыре официальных жены, все умерли. Они родили мне девятнадцать детей — юношей и девушек, — ни одного не

осталось на свете, даже их могил я не могу найти. Ни одного следа, где ступила теплая нога моего ребенка, я никогда не видел на земле...

К с е н я. Не скучай, дедушка, я тоже скучаю. Бедный ты мой горюн!

Х о з. У вас есть аптека?

К с е н я. Маленькая.

Х о з. Пойди принеси мне чего-нибудь химического – я проглочу.

К с е н я. Сейчас притащу.

Х о з. Сбегай, девчонка.

КСЕНЯ уходит.

(*Зовет в окно.*) Филипп!

Г о л о с В е р ш к о в а. Тебе чего, Иван Федорович!

Х о з. Иди сюда.

Г о л о с В е р ш к о в а. Сщас. Дай вытянусь – кости обломаю.

Х о з (*роясь в делопроизводстве*). Опасность отставания налицо. Уборка травы не закончена. Налог по мясопоставке не сдан, мешков на зимние запасы не хватает, две колхозницы вчерашний день рожать легли – в один день зачатье получили. Ну, где я теперь мешочных штопальщиц возьму, Боже мой... Суенита, дыхание мое, ворочайся скорее в наши избушки, у тебя сердце бьется умнее моей головы. Я классового врага не вижу! А ведь это все его проделки!

Входит ФИЛИПП ВЕРШКОВ.

В е р ш к о в. Тебе чего?

Х о з. Вот что – отчего ты спишь помногу?

В е р ш к о в. У-у, едрена-зелена! Я думал: ты контра-человек, а ты тоже вроде нас. Неужто заграницей, кроме нас, никакого интереса у вас нету?

Х о з. Слушай, Филька, ты классовый враг!

В е р ш к о в. Я-то? Да, можно сказать, что так точно, а можно – и нет! Можно сказать, это гнусная ложь, уловка и клевета на лучших людей. Как хочешь, Иван Федорович: и вперед, и назад, в общем – загадочно!

Х о з. Врешь, ты вредный! Я сквозь целое человечество всю судьбу вижу!

В е р ш к о в. Мало ли что ты видишь! Ведь – теоретически!

Х о з. Практически, гад! Я второй век живу, я проверил на событиях! Ты политику партии не любишь, ты здесь притворяешься, что за нас, а сам за Европу стоишь, за зажиточных!

В е р ш к о в. Ты... ты меня не распсиховывай, я заикаться начну, а в тебя... предметом воткну... Кто тебе стог-гигант сложил, десять ден в одни сутки включил?

Х о з. Ну это ты, Филипп Васильевич, Я тебе четыре трудодня записал.

В е р ш к о в. Четыре дня! Ты... ты психу нагоняешь в меня, я факты забываю! Ты негодованье во мне развиваешь, чертов пережиток!

Приходит КСЕНЯ.

К с е н я. На море шум начался. Страшно сейчас плавать одному в воде...

Х о з. Дай порошок.

К с е н я. Бери какие хочешь, все принесла. (*Открывает перед Хозом ящик-аптеку*.)

Х о з. (*глотает три порошка по очереди*). Запить даже нечем. Пора квас варить в колхозах.

В е р ш к о в. Жуй всухую.

Х о з. Н. раздражай меня, ничтожный!

В е р ш к о в. Я тебе дам ничтожный! Ничтожные у нас знаешь где? А здесь одни многозначные!

Х о з. Не распсиховывайте меня! Уйдите прочь из правления!

В е р ш к о в. Забюрократился уже! Вот дай Суенита Ивановна из командировки приедет – я все скажу.

К с е н я. Я тоже не смолчу. У нас артельное хозяйствю и тон должен быть товарищеский. По непроверенным данным срамишь – фу, какое безобразие.

В е р ш к о в. Пойдем, Ксюша, от классово-чуждых. Нечего нам мировоззрение свое марать.

ОБА уходят

Х о з (*счастливо*). Живут себе эти Божьи почти существа. Играют в различные шутки, а получается всемирная история... Скоро светать начнет – надо отчетность в райзо готовить. (*Занимается*.)

Приходит БЕРДАНЩИК с ружьем.

Б е р д а н щ и к. Не ложился еще?

Х о з. Нет. Сижу вот копаюсь в общей жизни.

Б е р д а н щ и к. Пора бы уж на бок, ай ты моложе меня?

Х о з. А тебе сколько времени?

Б е р д а н щ и к. Да годов сто будет ли, нет ли: едва ли! Туман уж в уме пошел – сам вижу белый свет, а интереса нету.

Х о з. Да ты умный, что ль?

Б е р д а н щ и к. А я – когда как! То умный, то опять нет: у меня облака по уму плывут.

Х о з. Ну, ты умный, – ступай колхоз с края карауль.

Б е р д а н щ и к. А я – правда, нет ли? Классовый враг?

Х о з. Так зачем же ты ходишь здесь? Ступай в район и скажи, чтоб тебя арестовали. Пора бы уже сознанию научиться.

Б е р д а н щ и к. Ходил уже. Дважды просился под арест. Не берут никак – признаков нету, говорят, нищий человек. Краюшку хлеба на обратную дорогу выписывают по карточке и пускают ко двору.

Х о з. Значит, ты полезный общественник.

Б е р д а н щ и к. Я-то? Едва ли. Я в книге начитался: люди сто тысяч годов живут на белом свете – ни хрена не вышло. Неужели за пять лет что получится: да нипочем!

Х о з. Прочь отсюда, классовый враг!

Б е р д а н щ и к. Я не евши это сказал. Это я бдительность твою проверял, а может – ты агент Ашуркова! Я здесь сторож, я все берегу – весь инвентарь и всю идейность... Заря встает – ложись на бок, спи, а то силу днем потеряешь. А нынче каждый день тыщу лет кормит, колхозная революция должна сто тысяч годов покрыть! Вó как! У нас ведь так-то! Отдыхай с Богом! (*Уходит.*)

Краткая пауза.

Х о з (*один*). Не понимаю ничего: облака по уму плывут!

Розовая заря в колхозе. Является ВЕРШКОВ.

Х о з. Ты что не спишь?

В е р ш к о в. Не спится: забота! Светает помаленьку, еды нету. Народ ворóчается, лежит.

Х о з. Ну, раздражай, раздражай меня, мешай трудиться!

В е р ш к о в (*вздыхая*). Удивляюсь я всемирному человечеству. Как это тебе империалисты – далеко ведь не глупейшие люди – загадку своей жизни приказали отгадать! Ты же отсталый человек, ты овечьего колхоза решить не можешь!.. Я бы давно все мировое дело разгадал – и не ездил бы никуда, а сидел бы на квартире, ел бы пищу и думал бы себе!.. Их, и выдумал бы я тогда!..

Х о з. Филька! Все мировые дураки всегда ищут мировую истину.

В е р ш к о в. Тебе же лучше! Мы-то с тобой не дураки: ты всемирный двурушник, а я колхозный ударник-пастух. Только всего.

Х о з. Филька! Прочитай в конверте, что мне Европа там еще пишет. Напиши ответ этому кулацкому колхозу. Ты, оказывается, великий человек! (*Отдает Вершкову конверт.*)

В е р ш к о в (*распечатывая конверт*). Да я что хочешь! Когда

как! Когда великий, когда мелкий! Что ж делать: жизнь ведь – мероприятие незаконченное! Приходится!

Х о з. Да ведь и я тоже, Филька, такой: когда как! Мы оба с тобой – трудящиеся люди!

В е р ш к о в. А ништ я тебя не вижу? Я вижу! (*Пишет, не читая, несколько слов на письме – резолюцию.*) Большевик-человек наблюдает вас, дураков, насквозь! (*Отдает Хозу письмо с конвертом.*)

Х о з (*читая резолюцию*). Филька! Неужели это верно? Неужели вся мировая экономическая загадка решается твоими четырьмя словами!

В е р ш к о в. Зря ничего не пишем. Я-то знаю.

Пауза.

Да.

Х о з (*размышляя*). Это верно. Вы знаете. А что мне пишут оттуда?

В е р ш к о в. Пишут, что им так себе: неудовлетворительно. Прочитай сам вслух!

Х о з (*читает с пропусками, злобно бормочет*). ...Из Москвы получено сообщение... На вокзале вы хотели жениться на известной красавице – пастушке Суените... Вследствие некоторого ограничения ваших умственных способностей... Концентрированный круг европейской трагедии... Шлите... новый принцип... Разрешение мировой политико-экономической загадки.

В е р ш к о в. Я же сам написал. Теперь мировой загадки нету.

Х о з. Ты написал ясно: загадки нету. Пора отсылать, утро наступило.

В е р ш к о в. Подпиши. А я дай за секретаря.

Подписывают. Запечатывают конверт... Входит РАЙОННЫЙ СТАРИЧОК – с деловой сумкой, и с запасом свернутых знамен, сделанных из кумача и рогожи.

Р а й о н н ы й С т а р и ч о к. Здравствуйте! Тушите лампу, чего вы здесь сидите!.. Я из райцентра пеший пришел, за соревнованием гляжу!

Районный старичок берет из угла горницы красное знамя, свертывает его, берет к себе, а из своего запаса выделяет рогожное знамя и ставит его взамен,

В е р ш к о в. Ты за что нас обижаешь!

Р а й о н н ы й С т а р и ч о к. Не заслужили, значит. Обыкновенное дело! (*Уходит.*)

Х о з. Боюсь, Суенита Ивановна раздражаться будет...

В е р ш к о в. Это ничего... Надобно, Иван Федорович, что-нибудь народу дать, он, не евши, плачет, лежит на земле.

Х о з. Я не слышу.

В е р ш к о в. Тут не слушать надо, а думать. Ну, послушай!

Растворяет окно правления. Слышна ругань мужчин и женщин – и редкий, отдаленный плач детей, мирный по своим звукам.

Х о з. Они не плачут, они ссорятся.

В е р ш к о в. Они друг друга грызут, это хуже слез. Народ от голода никогда не плачет, он впивается сам в себя и помирает от злобы.

Х о з. Закрой окно. Сколько дней Суениты Ивановны нету?

В е р ш к о в. Девятые сутки ушли.

Х о з. А ты разве не хочешь есть?

В е р ш к о в. Нет. Я живу от сознания, разве у нас от пищи проживешь?

Х о з. Пойди позови ко мне Ксюшу!

В е р ш к о в. Пользы не будет... Но сходить можно. (*Уходит.*)

Х о з (*один*). Боже мой, жизнь, в чем твое утешение?.. Надо отчетность в райземотдел кончать.

Приходит КСЕНЯ.

К с е н я. Я и сама бы пришла, я проснулась уже. (*Дует в лампу и тушит ее. За окном стоит ранний солнечный день.*) Давай наряд на задание.

Х о з. Ксюша! У тебя сердце болит – пусть оно отдохнет.

К с е н я. Это еще что такое за новости такие. А вдруг-де ГПУ ребенка моего догонит, а я здесь, значит, лодырничала? Вот так симпатично будет!

Х о з. Ксеня, принеси мне чего-нибудь химического, я ослабел.

К с е н я (*укрощаясь*). Ну, сейчас. А молочка не хочешь? У меня в грудях скопилось, все равно выдавливать на землю буду. Женское молоко полезно.

Х о з. Ну, ступай, подои сама себя, принеси в бутылочке. А химию тоже не забудь!

К с е н я. Ладно уж! Без порошков-то жить не можешь!

Х о з. Умру.

КСЕНЯ уходит.

Я чувствую тепло человека в этой стране... Отчет в райзо закончен, слава Богу. Книги писал, а никогда так не радовался. (*Расписывается с размахом.*) Хорошо!

Брань, крики женщин и плач детей слышатся сквозь закрытое окно. Быстро входит ВЕРШКОВ, за ним БЕРДАНОЧНИК с ружьем.

Вершков. Слышишь, как бормочу? Тебе надо, Иван Федорович, теперь на Берданщика опереться, у него ружье, он районной властью утвержден!

Берданщик. Это зря: ни к чему! Народ только между собой будет злиться, это всегда так, а посторонних он никого не тронет.

Хоз. Ты, Филька, классовый враг! Народ надо кормить.

Берданщик. Вот верно сказал! Мы, старики, все знаем!

Вершков. А чем ты накормишь его? Только политически! Лозунг выпустишь из ума!

Хоз. Берданщик, возьми его под арест! Ты видишь — кулак проявляется!

Берданщик. Я вижу. Твое руководство работает хорошо.

Хоз. Отведи его в наш тюремный кузов, какой Антошка сделал!

Берданщик. Отведу. А народ кормить ты не раздумал?

Хоз. Нет. Исполняй свою службу!

Берданщик. Сейчас. Иль ты обиделся? (*Выталкивает прикладом Вершкова вон.*) Иди прочь, двоякий человек!

Уходят ОБА. Прибегает КСЕНЯ с бутылочкой молока.

Ксеня. Дедушка Иван! Чего-то у нас там делается такое. Все орут, томятся, друг друга раздражают!

Хоз (*беря у Ксени бутылочку*). Твое молочко-то?

Ксеня. Мое. Из груди своей тебе нацедила, да не поспела всю бутылку налить — мужики так и рвут из рук, лопать хотят. Сначала облатки проглоти! (*Дает Хозу порошки в облатках.*)

Хоз. Сколько у нас детей в колхозе — без твоего с Суенитой?

Ксеня. Обожди... (*Считает шепотом.*) Семеро!.. Двоих схоронили — пятеро!

Хоз. А много у тебя молока в груди еще осталось?

Ксеня. И старого и малого накормлю — и в резервный фонд останется!

Хоз (*отдает ей бутылку с молоком обратно*). Ступай корми всех детей своим молоком. Сколько успеешь, пока себя всю не иссосешь.

Ксеня (*радуясь и удивляясь*). А верно, дедушка Хоз! Чего я себя, дура, берегла, только мучилась!

Хоз. А мужчинам и женщинам дай из аптеки по одной химической облатке. Пусть съедят их. Скажи, я велел, я тоже ими кормлюсь — второй век живу.

Ксеня. О, они умные, они терпеливые, дедушка Хоз! Им чуть-

чуть дай только, у них сразу сердце болеть перестанет!

Х о з. Накорми их, Ксеня, из груди своей и из аптеки.

К с е н я. Иду, дедушка... (*Уходит.*)

Х о з (*один, глотает облатки и пережевывает их*). Хорошо. Питательно!

Пауза.

Буду жить на свете, как Берданщик-сторож, стеречь случайности и фонды!

Незаметно, неслышно входит смеющаяся СУЕНИТА. Углубленный Хоз не видит ее.

С у е н и т а. Здравствуй, дедушка Хоз!

Х о з. Суенита! Ты вернулась к нам, удивительная моя! А где твой ребенок?

С у е н и т а. У нас в колхозе. Сейчас я его Фимке Кощункиной понянчить отдала, больше меня никто не видел. И Ксюшкин мальчик тоже цел – я обоих принесла, они живы... Сделай мне доклад о положении хозяйства!

Х о з. Обожди ты с этими бесчеловечными делами: хозяйство, доклад, положение! (*Открывает окно в колхоз: в колхозе тихо, ничего не слышно, стоит светлое позднее утро.*) Тихо стало, народ наедается... Дай я тебя поцелую по старости лет!

С у е н и т а. Ну, ладно, поцелуй – я не засохну.

Хоз целует Суениту в лоб.

Х о з. Вечная моя! Как давно я искал тебя – сто лет.

С у е н и т а. Я тогда на свете не была – напрасно искал.

Х о з. Я рождения твоего ожидал.

С у е н и т а. Поздно явился – я уж сама рожаю.

Х о з. Я народ здесь кормлю. Мое руководство работает хорошо.

С у е н и т а. Мы проверим.

Х о з. А хлеб наш колхозный и овцы где? Ты отняла их у классового врага?

С у е н и т а. Мы догнали наш парусник на аэроплане. Потом его повернул к Астрахани катер ГПУ и взял на буксир.

Х о з. Ашурков где, я спрашиваю?

С у е н и т а. Когда морское ГПУ начало гнаться за ними, они спустили в море половину нашего хлеба. Сорок овец потопили – остальные целы, и избушку нашу бросили – она поплыла-поплыла... А ребятишки наши, мой и Ксюшин, в трюме лежали, их сам Ашурков нянчил и плакал по ним, когда его арестовали...

Х о з. Приличный человек!

С у е н и т а. Да. Он меня любил когда-то в девушках, до ликвидации классов...

Х о з. Где хлеб и овцы наши, я тебя спрашиваю!..

С у е н и т а. Их Ашурков на нашем паруснике домой к нам из Астрахани везет.

Х о з. Какой Ашурков?

С у е н и т а. Бантик бывший. Он по ветру едет, скоро мы парус на море увидим. С ним агент ГПУ плывет, до нас провожает.

Пауза.

Х о з. Ничто не ясно... Откуда же ты явилась?

С у е н и т а. Из Астрахани же, старый человек! Мы с Антошкой и с детьми на аэроплане до совхоза долетели, а оттуда пешие прошли. Понимаешь ты? А Федьку Ашуркова я велела ГПУ простить и дать мне на воспитание, я из него колхозника-ударника сделаю, он годится лучше наших, я знаю! Он кроткий будет!

Х о з. Значит, это и есть классовая борьба! Ну что ж, пускай вращаются пустяки!

С у е н и т а. А ты думал – это одно убийство!

Х о з. Хорошо. Классовый враг нам тоже необходим: превратим его в друга, а друга во врага – лишь бы игра не кончилась. А есть чего мы будем, пока Ашурков твой с добром приплывет?

С у е н и т а. Химию, старичок! Ты игры не понимаешь!

Вбегает КСЕНЯ и обнимает Суениту.

С у е н и т а. Ксюша, мы опять с тобой две матери!

К с е н я. Опять, Сунечка моя!

С у е н и т а. Дедушка Хоз, пошли ко мне Фильку Вершкова. Я его арестую.

Х о з. Я его уже арестовал!

С у е н и т а. Ты молодец! Тогда пойди приведи его!

Х о з. Я схожу. Только несерьезно это все! (*Уходит.*)

С у е н и т а. Ксюша, ну что? Где наши ребятишки?

К с е н я. Хорошо, Сунечка! (*Щекочут и ласкают друг друга.*) Они у Фимки спят, я их нашла.

Приходит БЕРДАНЩИК.

Б е р д а н щ и к. Главная гражданка наша приехала. Здравствуй, девка!

С у е н и т а. Старичок, ты знаешь, что ты классовый враг – иль

это тебе нипочем неизвестно?

Берданщик. Знаю. Я уже давно говорил, что я – не тот.

Суенита. Ашурков сказал, как ты притворился и спал посреди колхоза, когда они избушку волоком волокли! Одно чучело безличное дежурило за тебя!

Берданщик. Свободная вещь.

Ксеня. А это что́, по-твоему, – тухлая мошонка?

Берданщик. Акт.

Суенита. Что такое? Повтори мне, жалкий!

Берданщик. Акт, – говорю.

Суенита. Будет общее собрание – уйдешь из колхоза навеки! Поставь ружье в угол.

Пауза.

Берданщик (*положив ружье*). Пойду сумку шить... Ксюшка, дай иголку! Была своя, сломал один коннонарочный, попросил штаны заштопать – и сломал. Какие теперь иголки? – одно перевыполнение, а не иголки!

Ксеня (*вынимает из юбки иголку*). Бери иголку! Ступай скорей, пока терпит тебя мое сердце.

Берданщик. Сердце что́! Оно болит и терпит! (*Уходит с иголкой.*)

Голос Антона в колхозе. Я вас всех по всем линиям проверю, он видит ваше антинаучное лицо классового врага, достойное презрения! Товарищ Антошка понимает, отчего дребезжит колхозная тележка! Он видит в упор бесстрашно! Еще нет такого человека, который обманул бы или испугал товарища Антона Концова! Я все человечество здесь по всем принципам пересортирую! Наука! Всемирные академики! Вы здесь улыбаться приехали: идите бороться за качество-количество продукции против классового врага!

Ксеня (*почтительно*). Антошка пришел.

Суенита (*в окно*). Антошка!

Голос Антона (*более спокойно*). Ввиду необходимости контрольной проверки ожидаемого с бантиками хлеба, у меня явилась потребность пересмотреть сотенные весы системы Фербенкса, так как есть возможность испортить их бесшумной рукою кулака.

Суенита. Ксюша, мне Антошка не нравится.

Ксеня. Оголтел от своего ударничества... Все они здесь на одну морду, – так бы и треснула всех: колхозные притворщики! Уж, по-моему, бантик и то лучше. Его арестуй, он и работает. Да ей-ей так!

Приходит ХОЗ.

Хоз. Филька сейчас явится. Он письмо в Европу заклеить по-

шел... Я здесь отношение из Европы получил — там трагедия!

Суенита. У тебя одна Европа на уме, а у нас целый мир на руках — ты же видишь!

Хоз. Я вижу. Вы запутались. Вам есть нечего будет...

Является ВЕРШКОВ.

Вершков. Здравствуй, товарищ председатель! С победой тебя — над классовым врагом бантиком!

Суенита. Не надо. Ты тоже бантик.

Вершков (*улыбаясь*). Ты нынче веселая!..

Суенита. Я не скучная... А ты горевать будешь сейчас. Зачем ты велел Антошке чучело ставить? Чтоб чучело колхоз стерегло, когда бантики явятся?! Возьми свой револьвер — Ашурков велел тебе отдать. Он хотел из него тебя застрелить, да знал, что я тебя все равно раскулачу.

Вершков (*без револьвера*). Аль до всего дознались, ехидны сухие?

Суенита. До всего, дядя Филя, — до погибели твоей дошли.

Ксеня. Помирай скорее, терпенья нету думать о тебе!

Вершков. Я здесь премированный ударник, не увлекайтесь, граждане, своей забавой!

Ксеня. И верно: он премированный! Что ж это делается такое?! Суня, давай лучше бантиков в колхоз наберем — они боязливые будут и не такие двуручные!

Суенита (*Вершкову*). А кто виделся с Ашурковым у бродячего колодца? Кто сказал ему — вдарить в колхоз, махнуть овечий гурт и жить потом вольно в кавказских краях, как члены профсоюза?

Вершков. Что же такое, что говорил! Молча скучно сидеть, говоришь слова в виде опыта. Слова не считаются, это звуки.

Хоз. Господин Вершков, разрешите спросить: вы за колхоз, то есть за социализм — или напротив?

Вершков. Я за него, Иван Федорович, и напротив. Я считаю одинаково: что социализм, что — нет его. Это же все несерьезно, Иван Федорович, одна распсиховка людей.

Хоз (*задумчиво*). Несерьезно, дядя Филя. Распсиховка!

Суенита. Перебрехать нас всякому дураку можно, а победить и умник даже не сумеет... Ксюша, покличь Антошку!

Ксеня (*в окно*). Антошка! Иди сюда скорее, скверный такой!

Голос Антона. Успеешь! Я здесь тару чиню.

Хоз. Господин Вершков, где письмо в Европу?

Вершков (*отдавая письмо*). Ты видишь: я здесь ударником был, мировую загадку экономики решил — и погибаю.

Суенита. Какую он загадку решил?

Х о з. Мировую! Он написал рукою: да здравствует товарищ Ленин! Мировой загадки больше нет.

В е р ш к о в. Нету. Я сразу догадался.

К с е н я. Ишь, демон какой!

Пауза.

С у е н и т а. Мы здесь бедные, у нас нет никого, кроме Ленина. Мы шепчем его имя, а ты его срамишь. Вы богатые, у вас много ученых вождей, у нас – один. Ты что, Вершков?!

В е р ш к о в. А ты что?

С у е н и т а. Я здесь колхозница, я социализмом буду.

В е р ш к о в. А я-то кто ж? Я тоже социализм!

С у е н и т а. Социализм, как и Ленин, у нас один. Два не нужны. (*Мгновенно всаживает в грудь Вершкова кинжал.*)

Вершков садится на лавку в изнеможении смерти.

Х о з (*Вершкову*). Дядя Филя! Что делается на том свете, – ты чувствуешь?

В е р ш к о в (*сваливаясь*). Так себе – пустяки и мероприятия... Тут тоже несерьезно, Иван Федорович, зря люди помирают.

Х о з. Хорошо видит смерть этот человек.

В е р ш к о в. Я не умер, я переключился.

Пауза.

С у е н и т а. Кончился он?

К с е н я (*пробуя тело Вершкова*). Кончился, холодеть начинает.

С у е н и т а (*щупая кинжал*). А кинжал почему-то еще теплый!

Является АНТОН.

А н т о н (*не вникая в обстановку*). Каждый теперь должен жить как сознательно, так и ответственно!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Берег Каспийского моря. Полуденный горизонт. Небо. Сияющий свет над пустынной далекой водой. Маленький кузовок, в форме цилиндра, устроенный сплошь из плетня – и цилиндрическая круглая стена и крыша; стоит этот кузов на трех камнях. Весь кузов, в том числе и крыша, оплетены колючей проволо-

кой. Это – тюремный колхозный кузовок. Около плетневого кузова сидит АНТОН с самодельным ружьем, которое было у Берданщика, и сторожит заключенную в тюрьме Суениту.

С у е н и т а (*невидимая, негромко поет изнутри тюрьмы*).

Нулимбатуйя, нулимбатуйя,
Аляйля бедная моя.
Увенкувейра фиулумайла –
Аляйля халма сарвайджа!

Пауза.

Антошка, ты тут?

А н т о н. Я всегда там, где мне необходимо быть по соответствующему распоряжению или по личной точке зрения на государственную пользу.

С у е н и т а. Я вижу отсюда в скважину – как у вас в колхозе солнце светит!.. Сколько времени я еще буду сидеть в темноте?

А н т о н. Эн-количество.

С у е н и т а. А сколько это – эн?

А н т о н. Никому неизвестно: это математически. В море эн количество воды, в пустыне нету эн количество, везде одно гигантское эн!

С у е н и т а. Мне холодно тут. Здесь тень кругом.

А н т о н. Поскольку природа отпускает в настоящее время достаточное количество температуры – ты говоришь клевету на весь климат СССР!

С у е н и т а (*тихо поет*).

Трава на свете теплее стала.
И дождь над родиной идет,
Далек от сердца товарищ Ленин,
Его Аляйля в колхозе ждет.

А н т о н. У нас есть наличие государственной связи снизу доверху – через край, район и правление колхоза, – здесь я заменяю тебе все высшее руководство: мучайся без скуки!

Пауза.

С у е н и т а. Антошка! Я вылезу. (*Царапается изнутри тюремного кузова.*)

А н т о н. Получится умерщвление тебя.

С у е н и т а. А кто Филька был?

А н т о н. Филипп Вершков не кто иной, как разоблаченный до конца классовый враг, опасный двурушник, надевший маску премированного ударничества.

С у е н и т а. Врешь: он был настоящий ударник!

А н т о н. А зато классовый враг!

С у е н и т а. И классовый враг тоже настоящий!

А н т о н. Вопрос исчерпался.

С у е н и т а. Классовый враг у нас вне закона по конституции. Его можно убивать. Я вылезаю. *(Царапается изнутри).*

А н т о н. Я ликвидирую тебя насмерть на месте, поскольку нет оформления твоего освобождения!

С у е н и т а. А ты знаешь нашу конституцию?

А н т о н. На память! Все пункты: спроси любой!

С у е н и т а. А не выпускаешь чего ж?

А н т о н. Я не помню в точности всех изменений и дополнений, внесенных в конституцию соответствующими постановлениями Президиума ЦИК СССР.

С у е н и т а. А я помню.

А н т о н. Все равно у тебя нет документов под руками.

С у е н и т а. Ты пособник классового врага!

А н т о н. Товарищ Антон Концов знает себя лучше, чем любые голословные психические девки, заключенные под стражу за превышение полномочий власти на местах!

Краткая пауза.

С у е н и т а. Там вон идет кто-то. Антошка, позови его!

А н т о н (*вглядываясь*). Это идет районный старичок, заведующий учетом соревнования и качества продукции. Он же пешком разносит и вручает директивы по важнейшим мероприятиям райцентра.

С у е н и т а (*протяжно*). А лицо у него какое чуждое!..

А н т о н. Лицо есть маскировка идейной вооруженности – на обе стороны фронта борьбы!

Р а й о н н ы й с т а р и ч о к (*голос*). Караульщик! Слушай меня отсюда – у меня ноги ходить уморились, я вздохнуть сяду.

А н т о н. Я слушаю, товарищ из района. Говори.

Р а й о н н ы й с т а р и ч о к (*голос*). Ты слушай меня! Пускай Суенита Ивановна опять гуляет – ей райпрокурор велел. Вперед до особого распоряжения – ты и прочий никто не трожь ее. Все права службы и состояния отдай ей обратно!

А н т о н. Вперед до особого? А насколько времени впредь полагается?

Р а й о н н ы й с т а р и ч о к (*голос*). Раз впредь – значит наве-

ки. До самого гроба так и будет гулять, аль у прокурора делов боле нету?.. Суенита Ивановна – девка добрая – зря не убивает.

А н т о н. Ступай, скажи товарищу Хозову – пусть он мне даст установку как председатель. Ты для меня мало вероятен.

Р а й о н н ы й с т а р и ч о к. Пойду кликну сейчас... ходьба доняла, хоть бы мне до транспорта дожить!

А н т о н, Транспорт твоей должности полагаться не будет.

Р а й о н н ы й с т а р и ч о к (*голос*). А я тогда карьеру сделаю – выше стану. Я ведь усердный... Надо трогаться. Эх ты, служба районная – в такой период времени! (*Слышно бормотанье и кряхтенье.*)

Пауза.

С у е н и т а. Старый, старый сволочь-старичок!

А н т о н. Старость, в случае доходности от нее государству, на эн-отрезок времени допустима.

Приходит, бдительно оглядываясь, демобилизованный красноармеец, в армейской шинели, с пищевой сумкой, – ГЕОРГИЙ ГАРМАЛОВ – муж СУЕНИТЫ.

С у е н и т а. Ты в колхоз наш вернулся? Ты ко мне пришел? Георгий! Я здесь сижу, я заперта.

Г а р м а л о в (*пугаясь*). Суня! Ты где? Ты зачем тут? Кто тебя мучает?

С у е н и т а. Прислонись ртом к плетню – я тебя поцелую.

Г а р м а л о в. А мальчик наш живой или помер?

С у е н и т а. Он живой, он на меня с тобой похож... наклонись ко мне, я тебя вижу, меня проволока колет в лицо... (*Царапается изнутри.*) Скорее! Мне холодно делается здесь.

Гармалов шарит руками по кузову тюрьмы.

А н т о н (*вставая*). Отойдите, гражданин, дальше от секретного сооружения.

Г а р м а л о в (*узнавая Антона*). Ты Антошка Концов?

А н т о н. Кто бы я ни был, я человек определенный!

Г а р м а л о в. Товарищ Концов, выпусти мне жену.

А н т о н. Много вас здесь шедевров является – отойдите несколько прочь!

Г а р м а л о в. Не бойся. Я красноармеец, я вреда не сделаю. Я по семейству соскучился.

С у е н и т а. Егорка! Ты красноармеец, а я председатель колхоза – отними ружье у Антошки, я приказываю тебе!

Г а р м а л о в. Не сметь обижать! (*Бросается на Антона.*) Здесь

председатель – Советская хозяйка!

Антон (*стреляет*). Я живу серьезно, от меня каждому жутко!

Суенита. Не попал!

Антон. Попаду – не радуйся: это одно предупреждение! (*Становится в позу стрелка.*) Взводный командир запаса Красной Армии никогда не промахнется!

Гармалов с воплем кроткого человека схватывает Антона, выбивает у него ружье, ломает ружье пополам и швыряет его в сторону.

Антон. Ага – нападение на пост!.. Десять лет по мирному времени тебе обеспечено. Факт сложный!

Появляется ХОЗ.

Хоз. Антошка! Уходи прочь – я тебя сменяю!

Антон. Пора тебе не опаздывать! Лицо из района приказало Суениту Ивановну...

Хоз. Знаю. Знаю. Мне все уже давно известно и понятно.

Антон. А этого (*указывает на Гармалова*) надлежит немедленно посадить в тюремную организацию сроком на десять лет!..

Хоз. Кто это такой – чей воин?

Антон. Супруг Суениты Ивановны, совершил нападение на пост, необходимы беспощадные...

Хоз. Остановись, классик масс! Мы запишем это событие в конце календарного года в итогах классовой борьбы. Ступай проверять весоизмерители, составь метеорологическую сводку, займись землеустроением пастбищ, просмотри кухонный очаг в столовой, начерти твое изобретение в масштабе...

Антон. Какое изобретение? У меня их максимальное количество!

Хоз. Самое важнейшее – эту избушку, заключающую в себе человека.

Антон. По всей колючей проволоке необходимо пустить электрический ток.

Хоз. Втыкай, Антошка!

Антон. Антошка знает сам, где что воткнуть и вынуть нужно.

Хоз. Ну, спеши организовать!

АНТОН исчезает.

Гармалов. Старичок, выпусти мне бабу.

Хоз. Успеешь еще, береги свое терпенье для блаженства.

Суенита (*царапаясь изнутри*). Мне холодно тут. Я сжимаю

сама себя руками, чтобы согреться. Во мне остывает что-то горячее внутри...

Х о з. У тебя теплые руки, ты согреешь остывающее.

С у е н и т а. Дедушка Хоз, я не знаю... Может, в руках у меня один холод останется – и руки остынут!

Г а р м а л о в. Суня! Ты дыши сама на себя, ты согреешься.

С у е н и т а. Я и так дышу, я согреваюсь уже. Идите трудиться на колодцы, кормите чем-нибудь неевший народ. Не видно там паруса на море?

Г а р м а л о в (*вглядываясь в море*). Не видно, Суня, парусов.

Х о з (*открывает тюремный запор*). Выходи, Суенита Ивановна, опять в свое прежнее счастье. Любит тебя советская власть.

С у е н и т а (*выходя, зажмуривается, трет руками свое исхудалое тело*). А где красноармеец Егор? Он мой муж!

Г а р м а л о в. Я здесь, Суенита Ивановна!

С у е н и т а. Весь срок отслужил?

Г а р м а л о в. Освобожден досрочно по успехам. Прибыл на постоянное место жительства в бессрочный отпуск – на помощь колхозному строю!

Суенита обнимает Гармалова. Тот, в ответ, осторожно прижимает ее к себе и держит в скромных объятиях.

С у е н и т а. Ты не будешь классовым врагом?

Г а р м а л о в (*отстраняясь*). Я красноармеец. Не сметь оскорблять!

С у е н и т а (*привлекаясь к нему*). Я любить тебя буду, женою стану опять.

Г а р м а л о в. Спасибо, Суенита Ивановна! Я опять буду колхозником, я соскучился по земле.

С у е н и т а. Ну гляди – старайся! У нас здесь томление стоит от голода и классовых врагов, мы корабль ждем с хлебом и овцами своими... Не видно там паруса? (*Глядит в море.*) Немножко ветер начинается... (*Мужу.*)

Г а р м а л о в. А сын где?

С у е н и т а. У Ксюши. Погляди его и ступай трудиться – переделывай все, что Антошка сделал.

Х о з. Антошка сам беспримерный ударник!

С у е н и т а. Молчи: у тебя бдительности нету никакой! У Антошки непрочно все выходит – вырыл колодезь, он сухой стоит, сто гирь из глины обжег – они рассыпались, тюрьму эту сделал – преступнику там жутко и можно убежать! Нам нужно, чтобы все было прочно и навеки... Твой Антошка – несерьезный пустяк!

Х о з (*кротко*). Я молчу.

Суенита (*Гармалову*). Поцелуемся теперь.

Гармалов, вытерев рот, нежно целует Суениту, оберегающе обнимая ее.

Суенита. Я люблю тебя: нам нужны мужья и верные колхозники.

Гармалов (*четко*). Буду стараться жить строго, как мужем твоим, так и колхозником.

Хоз (*задумчиво*). Мужчины в мире исчезают, но женщины остаются вечными.

Гармалов. До свиданья, Суня.

Суенита. Приходи вечером ко мне – я тебе трудодень запишу по фактической выработке.

ГАРМАЛОВ уходит.

Хоз. Суенита!

Суенита. Ну что, дедушка Хоз?

Хоз. Давай поцелуемся.

Суенита. Не в губы только.

Хоз. Куда хочешь – лишь бы тело было твое.

Суенита. Тебе тело только – мировоззренья ты не любишь.

Хоз. Тело, только тело. (*Целует Суениту в висок.*) Люблю эту сущность! Девочка, нет ли чего у тебя химического?

Суенита. Нету, дедушка, ты уж и так всю аптеку нашу съел. Возьми пойди у Ксени жавель, я ей давно велела купить.

Хоз. Пойду пожую жавель этот. (*Уходит.*)

Суенита (*одна*). Не видно в море никакого корабля! Какой яркий свет горит везде – должно быть, весело сейчас в мире жить!.. Шум какой-то слышен! Что там делается на всем свете? (*Озадаченно всматривается в пространство и прислушивается.*) Там империализм, там скучно и жутко, я одна здесь на берегу, а позади меня весь целый Советский Союз большевиков... Но я ослабла, на мне ребра стали видны, меня муж любить не будет... Скорее надо зимние овчарни делать, хлеб беречь буду, сама караулить, сама не спать...

Слышен далекий гармонический гул. Суенита следит за небом.

Аэроплан летит над пустыней! Он тоже наш – в нем капля нашей колхозной крови. Пусть летит выше, мы вытерпим!

Приходит Ксеня.

Ксеня. Суня! Еды нету никакой, мужики все томятся. Антош-

ка блюет – бешеной травы сейчас наелся.

С у е н и т а. Надо хлеб и овец было беречь от кулаков. Пусть терпят теперь – это им наука и техника.

К с е н я. Во мне молоко пропадает – детей наших с тобой нечем кормить.

С у е н и т а. Сукровицу выдавливай из себя, как я своего вчера кормила.

К с е н я. Суня, народ ведь подымется?

С у е н и т а. Подкулачники – не народ, они лягут, а не подымутся.

К с е н я. Суенита, неужели душе с телом расставаться от жизни такой?

С у е н и т а. Ксюша! Ты меня на Бога берешь! Ступай к черту! Давала сосать моему мальчику?

К с е н я. Давала. Твой мужик ему жеваный хлеб в рот сует – он с собой куски принес.

С у е н и т а. Пусть сует... Слушай, возьми моего мужика, ступай скорей на мясной совхоз – может, за всю траву нашу они овцу нам променяют!

К с е н я. А ребенка кто накормит без меня?

С у е н и т а. Я накормлю, уходи скорей.

К с е н я. У тебя молоко высохло.

С у е н и т а. Не твоя забота, кости свои дам глодать.

К с е н я (*дружелюбно*). Суня, а ты сама давно не ела?

С у е н и т а. Я в Астрахани уху хлебала, двенадцать дней прошло.

К с е н я. А как же ты?

С у е н и т а. Ступай отсюда, как я велела! Ты меня не пугай и не ласкайся: ишь, кулацкая неженка какая, то в драку лезет, то в слезы.

К с е н я. Не бурчи ты на меня, сучья старушка стала какая! Несимпатично глядеть на тебя: аж противно! (*Отправляется.*)

С у е н и т а (*зовет*). Дедушка Хоз!

Г о л о с Х о з а. Иду, девочка! Не шевелись там пока без меня.

С у е н и т а. Ну скорее же!

Является ХОЗ.

Х о з. Скучно тебе, когда меня нет?

С у е н и т а. Да вот, скучно!.. Дедушка, знаешь, что я тебя уже постепенно люблю.

Х о з. Люби понемногу. Но дедушка тебя любить не будет.

С у е н и т а. А любил за что?

Х о з. За мнимость твою. Ты пустое обольщенье для моей грусти.

С у е н и т а. Это правда. Я никогда не зазнавалась – я пустое обольщение.

Х о з. Мне известно с точностью всемирное устройство. Оно состоит сплошь из стечения психующих пустяков. И в тебе нет ничего лучшего!

С у е н и т а (*ложится на землю*). Во мне тоже пустяки, дедушка, я их чувствую.

Х о з. Ты лишь бедное тело, болеющее от стесненного в нем грустного вещества...

С у е н и т а. Во мне мало осталось вещества, я давно не ела.

Х о з. Это безразлично. Я сто лет ел и все равно ничтожный.

С у е н и т а. Дедушка Хоз, ты великий ученый всего мира, накорми колхоз!

Х о з. Как же, девочка?..

С у е н и т а. Ты выдумай, ты как-нибудь химически! К нам смерть идет – попробуй мои кости.

Хоз пробует кости Суениты.

Х о з. Ты худая... Я слышу твое сердце – оно близко теперь стало.

С у е н и т а. Скоро оно совсем наружу пробьется... Я спать захотела.

Х о з. Не спи, вечная моя. Поговори со мной, – мне скучно.

С у е н и т а. Выдумай нам пищу поскорей. Ты знаешь вещество всего мира – оно ведь пустяки, ты сам говорил.

Краткая пауза.

Думай же скорее – тебе все известно.

Х о з. Я уже думаю. Поцелуй меня.

С у е н и т а. Успеешь. Сначала пищу выдумай нам: хоть немножко.

Х о з. Сейчас.

Пауза. Хоз ворочается по земле в томлении тщетной мысли.

С у е н и т а. Ну как – тебе думается?

Х о з. Думается.

С у е н и т а. Выдумал?

Х о з. Нет еще. Не приставай с пустяками. Я спать хочу.

В глубине колхоза заплакали грудные дети.

С у е н и т а. Ну спи. Я детей пойду кормить.

Х о з. Чем ты кормить их будешь? Ты иссохла вся.

С у е н и т а. Чего-нибудь выдавлю из себя, может – кровь пойдет. (*Уходит.*)

Х о з (*один, лежа*). Как выдумать мне хлеб колхозу... Никто же ничего не думает на свете! И мысли нету никакой, есть лишь жульничество и комбинация случайности...

Является ИНТЕРГОМ с чемоданом. Она замечает Хоза.

И н т е р г о м. Ах, это ты, Иоганн? Ты здесь, ты жив-здоров и слава Богу?

Х о з (*вставая с земли*). Интергом! Верное безумное дитя мое!

И н т е р г о м (*прижимаясь к Хозу, говорит быстро*). Я десять дней ездила на авто по степи одна. Шофер умер. Я искала тебя по местной республике, авто стоит в районе, где вся власть, я семьдесят километров шла пешком, мне сказали – господин Хоз в избушках живет, и – хорошо! Я с тобой буду опять без разлуки! Господин Уборняк дал мне командировку во весь Советский Союз – искать древние страшные силы против революции, а сил нет, я искала, устала, не нашла. Он триумфальный мужчина! Я жила прелестно, но он не марксист и у него взяли... как она зовется?.. Лошадь, которой делают карьеру!.. Милый мой, Иоганн, как ты измучился, вечный мой дедушка-муж? (*Целует Хоза.*)

Х о з. Подожди, ничтожная! Ты знаешь – я люблю ласкаться радикально.

И н т е р г о м. Я тоже теперь халтурить не люблю.

Х о з. Халтурить! Кто ты такая теперь?

И н т е р г о м. Я теперь марксистка, Иоганн. Меня господин Уборняк научил – это так не трудно и приятно, все так удивлялись мне и обожали! Так интересно жить и умереть за всех трудящихся! Я в партию хочу, я буду бороться!! Только я одно забыла, мне советовали быть как можно... как можно... сознательней? – серьезней?.. Нет!.. Еще как-то быть!..

Х о з. Бдительней!

И н т е р г о м. Ну да! Ты догадался, ты гениальный!

Краткая пауза.

Х о з. Но откуда ты – сволочь такая? Кто тебя выдумал?

И н т е р г о м. Я не сволочь. Я научилась всей прелести и бонтону в московских домах общественности. Я перестроилась!

Х о з (*серьезно и грустно*). Слушай меня, девчонка! Здесь живут большевики, а не Уборняки, тебя выгонят отсюда.

И н т е р г о м. Очковтирательство! Недооценка! Я идеологический работник, я боец культфронта, я три очерка уже написала и пьесу пополам! Я член Всесоюзного Союза Советских Писателей, от меня ждут вырастания качества, меня везде сберегут.

Х о з (*задумываясь*). Ты права, Интергом. Если мир пропадает, значит, ты живешь. Что у тебя в чемодане?

И н т е р г о м. Пища и гигиена.

Х о з. Хорошо. Пойдем теперь радикально ласкаться. Кроме чувства, ничего не выдумаешь!

И н т е р г о м. Ах, Иоганн! Но куда?

Х о з. Вот сюда! (*Указывает на тюремный кузов*.)

И н т е р г о м. Ну скорее только! Я вся завяла в дороге: без любви нет полной гигиены.

Уходят оба в плетеный кузов.

Пауза.

Слыщен напевающий голос Суениты, баюкающий ребенка. Она поет примерно следующее:

Спи, просыпайся нескоро,
Спи и во сне не скучай,
Вырастут наши коровы,
Будем пить с сахаром чай.

Суенита зовет: "Дедушка Хоз!"

Молчание.

СУЕНИТА выходит на сцену, закутывая ребенка и прижимая его к своей груди.

С у е н и т а. Но грудь моя тоже холодная стала... Куда же девать мне его, чтобы он согрелся? В живот спрятать опять? Там тесно, он задохнется. А здесь просторно и пусто, он умрет. (*Разглядывает своего ребенка*.) Ты сильно мучаешься, или нет? Скажи, что не сильно! Скажи мне что-нибудь! Что же ты закрыл глаза и молчишь! О чем ты думаешь сейчас один?

Плетеный кузов пошевеливается: оттуда начинают раздаваться редкие скрепящие звуки. Звуки эти повторяются. Суенита прислушивается, не уясняя причины этих звуков.

Что это – едет кто-то далеко!.. Остановился! Приезжай скорее, нам скучно! (*Склоняется*.)

Прибегает АНТОН.

А н т о н. Тело смертью томиться начинает! Сознание боюсь по-

терять! Народ умолк и дремлет лежит.

Суенита. А он дышит еще?

Антон. Я всем велел дышать без остановки! Кто продышит до вечера, тому трудодень запишу!

Суенита. Не надо, Антошка! Это ошибка, у нас отчетность не примут!

Антон. Все не без ошибки, на ошибках учимся. Я десять дней продовольствия не ел – руки работают, тело мчится, а голова не думает ничего!.. (*Мечется по сцене.*)

Суенита. Кому променять себя на хлеб и крупу для колхоза? Антошка, где взять мне еду для неевших? (*Садится на землю в печали.*)

Звуки из плетеного кузова прекращаются.

Антон. Еду пора теперь организовать! Нагревай ребенка, храни его жизнь в запас будущности!

Суенита. Я храню его.

Антон. Он будет жить вечно в коммунизме!

Суенита (*разглядывая ребенка*). Нет, он умер теперь. (*Подает ребенка Антону.*)

Антон (*беря ребенка*). Факт: умер навсегда.

Клокочущий гортанный крик Интергом из плетеного кузова.

Суенита. Женщина где-то умерла!

Антон. Неважно. Вскоре наука всего достигнет: твой ребенок и все досрочно погибшие люди, могущие дать пользу, будут бессмертно оживляться, обратно к активности!

Краткая пауза.

Суенита. Нет. Не обманывайте меня. Дай мне ребенка – я буду плакать по нем. Больше ничего не будет. (*Берет ребенка у Антона.*)

Антон. Плачь сиди, как дождь. А мы будем рассматривать слезы как саботаж действия! (*Исчезает.*)

Из плетеного кузова выходит Хоз.

Хоз. Плачь, Суенита!

Суенита. Я вытерплю.

Хоз. Я слышал все, моя девочка! Как же нам жить теперь с тобой?..

Суенита. А ты выдумал еду для колхоза?

Хоз. Выдумал. Я задушил сейчас классового врага, и от него осталась пища – колбаса, масло, стабильное молоко, хочешь кушать?

Суенита. Где?

Хоз. Возьми в тюремной избушке. Там лежит Интергом – моя бывшая европейская женщина. Я оборвал ее дыхание...

Суенита. За что ты убил ее?

Хоз. Она опасна для тебя и всего социализма – она опасней старого империализма.

Краткая пауза.

Суенита. Уходи от нас, дедушка Хоз.

Хоз. Некуда, Суенита.

Суенита. Найдется. Лучше уходи. Мы похороним твою женщину в могилу, мы наедимся своей едой... Ты – пустяк!

Хоз. Где же мне быть, Суенита?

Суенита. Возьми и умри.

Хоз. Пора, пожалуй... Уже поздно стало на свете! Хотя тоже – юмористика! Что такое смерть? – Сырье для глупейших стихий!.. Некуда исчезнуть серьезному человеку!

Суенита. Подержи моего мертвого сына. Я лицо пойду вымою в море. (*Встает с земли, отдает ребенка Хозу и уходит.*)

Хоз (*один, к ребенку*). Ты уже умер, маленький человек. Ты – остывшая плоть Суениты, ты милый, маленький мой! (*Целует ребенка*). Ну что ж, давай ляжем рядом на землю, я тоже умру вместе с тобой. (*Ложится на землю, кладет рядом с собой ребенка и обнимает его.*) Пусть в глазах потемнеет свет и сердце перестанет раздражаться... Боже мой, Боже мой – детский и забытый!

Являются КСЕНЯ и ГАРМАЛОВ.

Ксеня. А где же Суня-то?.. Все спят, чего-то лежат, досадные какие!

Показывается СУЕНИТА.

Суенита. Сменяли траву?

Ксеня. Шут ее сменяет! Приказчика встретили колхозного: у вас полынь, говорит, одна растет, от нее шерсть у овцы не всходит, жуйте ее сами впроголодь!.. Вот тебе и колхоз: помирай теперь! Эх, думали-гадали!.. Мой малый уж обомлелый лежит.

Суенита. А мой – мертвый!

Гармалов. Кто мертвый?! (*Бросается к ребенку, лежащему*

с Хозом.) Слабый ты мой, чего же я чувствовать буду без тебя!.. Я жить теперь сомневаюсь! (*Ослабевает над своим сыном.*)

Х о з. Не шуми надо мной, гражданин, дай мне покой... Ксюша, принеси мне на ночь химикалия какого-нибудь!

К с е н я. Жижки тебе надо навозной, старый паралич! Хоть бы ты сдох, я бы съела тебя! (*Кричит.*) Химия! Я все бельма выщарапаю тебе за судьбу нашу такую! (*Исчезает со сцены.*)

Вбегает АНТОН.

А н т о н. Контрреволюция развязывает себе руки!! (*Падает на землю от слабости. Снова поднимается.*) Это ничего, мой разум жив, идея цела полностью, а в одном только теле лежит гнездо голода, а больше нигде! Я встану еще и брошусь вперед до победы! Да здравствует... (*Забывается.*)

Г а р м а л о в (*поднимаясь от ребенка, к Суените*). Ты чего ж здесь дисциплину распустила, что еды нету и дети помирают!

С у е н и т а. Умер один наш ребенок: ты его хлебом обкормил. Больше никто – все живы. (*Задыхаясь, напевает.*)

Нулимбатуйя, нулимбатуйя,
Аляйля, бедная моя...

(*Хватает ребенка.*) Слабый ты мой! (*Несколько успокаивается, кладет ребенка вплотную к Хозу.*) Согревай его!

Х о з. Я сам холодею.

Г а р м а л о в. Прочь горе! Опомнимся! Мы не семейство, мы все человечество! Пора терпеть и трудиться – давай мне наряд, пока ум опомнился.

С у е н и т а. Опусти в море этот тюремный кузов. Поправь на нем погуще колючую проволоку, мы рыбы наловим, мы тогда наедимся...

Г а р м а л о в. Ага, это рационализация, я понимаю! Я вентарь, я ловушку сделаю для подводной рыбы, я это знаю. А приманку где взять?

С у е н и т а. Я дам ее тебе потом.

Г а р м а л о в. А веревку толстую!

С у е н и т а. В колхозе сыщи.

Г а р м а л о в. Там нету.

С у е н и т а. Тогда я волосы обрежу свои...

Г а р м а л о в. Не надо – я веревку пойду построю. (*Уходит.*)

С у е н и т а. Дедушка Хоз!

Хоз молчит.

Антошка! Вставай, скоро есть начнем.

Антон молчит.

(*Близко склоняясь к Хозу.*) Дедушка Иван! Ты притворяешься? (*Ощупывает его.*) Нет, он умер уже: его нету!.. Дедушка! Не притворяйся, у тебя щека теплая... Дедушка Иван, ведь смерть – пустяк, а ты умер! (*Тихо плачет над Хозом.*)

А н т о н. Неприлично глядеть, если плачут над чужим человеком... У меня один глаз не закрылся – я все вижу!

С у е н и т а. Он Карла Маркса знал и счетоводом у нас работал, вот я и плачу. Я хозяйка в колхозе, я должна его жалеть.

А н т о н. У меня чистый разум, а это диалектика! Слезам я не возражаю.

С у е н и т а. Спи, Антошка!

А н т о н. Сон без пищи заменяет хлеб. Я сплю.

С у е н и т а. Если все помрут, я одна останусь, Кому-нибудь надо быть, а то плохо станет на свете, вот что.

Х о з (*встает и садится*). Думал, что умер, засмеялся и проснулся.

С у е н и т а. Не будешь больше умирать?

Х о з. Не выходит ничего, девочка, смерть же - это вещь несерьезная.

С у е н и т а (*садясь рядом с Хозом*). А как же ты будешь теперь?

Х о з. Никак. Буду неподвижно томиться среди исторического теченья. Я такой же пустяк, как все живое и мертвое. Понять все можно, сирота моя, а спастись некуда.

С у е н и т а (*печально*). Ты уйдешь от нас?

Х о з. Я пойду. Вы надоели мне со своей юностью, энтузиазмом, трудоспособностью, верой в будущее. Вы стоите у начала, а я знаю уже конец. Мне не поймем друг друга. Прощай, Суня!

С у е н и т а. Прощай, дедушка, навеки! (*Бросается к Хозу, обнимает его и целует в губы.*)

Х о з (*держит Суениту в объятиях*). Навеки?! Нет, с тобой навеки прощаться нельзя... Я еще вернусь к тебе, но – не скоро! Когда и ты уже будешь старушкой, бедная, худая моя, глупая теплота моего старого сердца... (*Целует Суениту в глаза. Затем отстраняется от нее и уходит со сцены.*)

На море показывается белый парус маленького рыбачьего судна; над белым полотном паруса – красный флаг. Суенита паруса не видит.

С у е н и т а. Ребенок мой не дышит. Дедушка Хоз ушел. Скоро уже вечер – как скучно делается мне одной!

А н т о н (*вскакивая на ноги*). Я с тобой один остался до полной победы – кто кого – на эн количество веки веков! (*Падает снова на землю.*)

С у е н и т а (*равнодушно видит парус*). Вон корабль наш плывет, хлеб и овцы едут домой... Один ребенок мой не чувствует ничего... Пойду колхоз разбужу.

На сцене остается лежать Антон и рядом с ним мертвый ребенок Суениты.

На море – парус.

Пауза.

А н т о н (*вскакивая в рост*). Пора вперед!! (*Мгновенно исчезает.*)

КОНЕЦ

СОДЕРЖАНИЕ



Ежемесячник, посвященный русской литературе, искусству и общественно-политической мысли.

Главный редактор Александр Глезер
Заместитель главного редактора
Сергей Петрунис
Художник Виталий Длугий
Издательство "Третья волна"

"Стрелец" предназначен для всех, кто интересуется современной русской литературой, искусством и общественно-политической мыслью. Мы верим, что "Стрелец" сможет раскрыть единый процесс развития свободной русской культуры независимо от географии: метрополия – эмиграция.

С ежемесячником согласились сотрудничать Василий Аксенов, Юз Алешковский, Дмитрий Бобышев, Владимир Буковский, Владимир Войнович, Юрий Гальперин, Михаил Геллер, Наталья Горбаневская, Фридрих Горенштейн, Александр Зиновьев, Юрий Кублановский, Эдуард Кузнецов, Лев Лосев, Владимир Максимов, Юрий Милославский, Юрий Мамлеев, Эрнст Неизвестный, Оскар Рабин, Леонид Ржевский, Олег Целков, Михаил Шемякин, Сергей Юрьенен и другие представители творческой интеллигенции.

Наряду с произведениями авторов, живущих на Западе, "Стрелец" предполагает также публиковать поэзию, прозу и другие материалы, поступающие из СССР по каналам Самиздата.

СТРЕЛЕЦ

В разделе "Литературный архив" читатель встретится с неизвестными и малоизвестными произведениями классиков русской литературы и искусства XX века.

В разделах "Искусство", "Литературная критика" и "Вернисаж" будут публиковаться статьи о творчестве писателей и художников-нонконформистов, рецензии на новые книги, новости культурной жизни и репортажи с выставок и концертных залов.

В первом номере вы прочтете прозу Владимира Войновича, Льва Наврозова и Сергея Юрьенена, поэзию Дмитрия Бобышева, Елены Шварц и Виктора Кривулина, эссе Василия Аксенова, отрывки из воспоминаний Эрнста Неизвестного и Оскара Рабина и интервью с Александром Солженицыным, взятое лондонской газетой "Таймс".



ТРЕТЬЯ ВОЛНА
Альманах литературы и искусства

Главный редактор – Александр Глезер

Издается с 1976 года. Основная цель – всестороннее освещение неподцензурного творческого сознания в современном СССР.

Раздел литературы представляет поэтов и писателей как традиционного, так и авангардистского направлений. Здесь публикуются произведения, пришедшие на Запад из Самиздата, а также созданные русскими писателями в условиях вынужденной эмиграции. Среди авторов альманаха такие разные имена как: Андрей Платонов, Владимир Максимов, Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Юрий Мамлеев, Владимир Рыбаков, Борис Вахтин, Владимир Марамзин, Сергей Юрьенен, Анри Волохонский, Геннадий Айги, Генрих Сапгир, Михаил Хейфец, Раиса Лерт, Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин, Олег Целков, Оскар Рабин и другие.

"Третья волна" – единственное издание, широко освещающее борьбу неофициальных русских художников за свободу творчества на родине, проблематику неофициального советского изобразительного искусства.

В альманахе: Мемуары. Интервью с ведущими художниками-нонконформистами. Публикации русских и зарубежных искусствоведов. Черно-белые и цветные репродукции иллюстрируют альманах, издание которого тесно связано с существованием и деятельностью Музеев современного русского искусства в Монжероне и Джерси Сити.

В издательстве "Третья волна" готовится к печати книга Александра Глезера "Русские художники на Западе".

В книге анализируется творчество художников-нонконформистов, эмигрировавших из СССР за последние десять лет, изучается влияние, которое оказали на них новая жизнь и западное искусство.

Отдельные главы книги посвящены творчеству более чем пятидесяти живописцев и скульпторов, в том числе Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина, Михаила Шемякина, Олега Целкова, Василия Ситникова, Льва Нуссберга, Лидии Мастерковой, Виталия Комара и Александра Меламида, Юрия Жарких, Анатолия Путилина, Леонида Сокова, Валентины Кропивницкой, Владимира Григоровича, Анатолия Крынского, Виталия Длугия, Льва Межберга...

Книга иллюстрирована репродукциями работ художников , о которых идет речь.

Примерный объем книги 350 страниц.

Цена – 18 долларов.

